Ирина Ракша

ЗАВЕЩАЮ ТЕБЕ

18+

Ирина Ракша

Завещаю тебе

«Издательство Интернационального союза писателей»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2 Рос=Рус)6

Ракша И. Е.

Завещаю тебе / И. Е. Ракша — «Издательство Интернационального союза писателей», 2026

ISBN 978-5-6055644-3-0

Перед вами замечательная книга. Это не только художественная проза большого мастера слова. В ней редкая информация «о времени и о себе», о героях веков минувших и дне сегодняшнем, это интереснейшие мемуары, воспоминания, словно энциклопедия времени. Автор книги Ирина Евгеньевна Ракша — известный писатель, кавалер государственных наград, лауреат литературных премий. Её имя включено в энциклопедии, в «Книгу рекордов России». В её честь Российская академия наук назвала малую планету № 5083 «Иринара». Имеет звания: «Золотое перо России», академик МАРС (Международная академия русской словесности), член-корр. МАНИ (Международная академия наук и искусств), Народный писатель России и др. Итак, вы на пороге увлекательного чтения и новых открытий!

УДК 821.161.1
ББК 84(2 Рос=Рус)6

ISBN 978-5-6055644-3-0

© Ракша И. Е., 2026
© Издательство Интернационального союза писателей, 2026

Содержание

К читателю 6
I. От первого лица 8
С лёгким паром, 8
Запретный плод 12
Путешествие в обратно 14
Ягодки-грибочки, леденец в мешочке! 16
Катаман 18
Облачно. Порою осадки 19
Хлеб наш насущный 20
И это тоже XX век 22
Синус-косинус 24
Он был у нас всего лишь раз 27
Нет сил забыть 29
Два неожиданных этюда 32
Тайная ставка фюрера 34
Как я могла, да не стала миллионером 35
Пять букв по вертикали 42
Малиновый звон 45
II. Держите дверь открытой 49
Дневниковая проза 49
Конец ознакомительного фрагмента. 56

Ирина Ракша
Завещаю тебе

Продюсер проекта Елена Наливина

© Ирина Ракша, 2026
© Интернациональный Союз писателей, 2026

* * *

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлёт раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
Б. Пастернак

К читателю

Я родилась в Останкино, москвичка в четвёртом поколении. Родители – выпускники ТСХА, агрономы. В войну с фашистами мой отец-танкист дошёл до Берлина. Мы с мамой эвакуацию пережили в Сибири. В Москве я училась в общеобразовательной и музыкальной школах. С 1954 по 1957 год работала на целине, на Алтае, в совхозе «Урожайный». Окончив десятилетку в селе Советское, вернулась в Москву и поступила во ВГИК (сценарный факультет). Где и вышла замуж за художника Юрия Ракшу (Теребилова) и родила дочь Анну. Получив диплом, окончила и Литинститут им. А. М. Горького в 1974 году. В течение жизни опубликовано немало книг художественной прозы. А последние годы стали особенно плодотворными, «болдинскими».

По моим сценариям снят и ряд кинофильмов, как игровых, так и документальных. Исколесила полмира. Будь то Великая китайская Стена и дом Дэн Сяопина или парад в Париже в

честь последнего года у власти Шарля де Голля, египетские пирамиды или Иерусалим, мученический путь Христа на Голгофу (храм Гроба Господня), чукотские яранги на берегу Ледовитого океана или Георгиевский зал в Кремле – всё это и многое другое нашло отражение в моём творчестве.

Мой многолетний учитель по Литинституту, великий поэт Михаил Светлов, написал обо мне статью, которая заканчивается так: «Ирина, я называю тебя талантливой! Смотри не подведи меня!». Что я и стараюсь делать всю жизнь.

I. От первого лица

С лёгким паром, или Ода его величеству

В истории человечества так много внимания было уделено баням (древним, античным, средневековым термам), так много о них написано, что тут не хватило бы места перечислять все эти энциклопедии. Я же к слову о банях хочу добавить и свои две копейки. И пусть будет эта моя малая лепта – про бани московские. Но не про давние, знаменитые, например Сандуновские («Сандуны»), для аристократов и богачей, для купечества и дворянства. С канделябрами и коврами в кабинетах и коридорах. С живой музыкой (игрой на скрипках и фортепиано), мраморными бассейнами, колоннами, настенными фресками и живописью в номерах. С полуголыми массажистками и мускулистыми банщиками с чудо-вениками из лавра, дуба и пихты… О «Сандунах» многое и в подробностях уже написали Куприн, Гиляровский, Зощенко и другие классики. А ещё плюс певцы и актёры, часто бывавшие там.

Я же хочу вспомнить бани другие, которые знала с детства. Городские бани для бедняков, для люда простецкого, разночинного, мещан и торговцев. Такие бани были во всех районах Москвы. И ближе к центру, и на рабочих окраинах, даже в посадах. И в народе они были желанны, необходимы и очень любимы…

Вот и в моём детстве раз в неделю мы ходили в баню мыться. Это было правилом, а скорее даже праздничным ритуалом, которого ждали. Помню две бани моего детства. «Андроньевские» (у бабушки, почти в центре Москвы, у Таганки) и «Алексеевские» (недалеко от моего родного дома в Останкино, у завода «Калибр»).

Но прежде чем говорить о них, вспоминаю, что однажды я уже писала об этом в рассказе «Ода его величеству». Вообще-то разные оды, панегирики, мадригалы поэты посвящали императорам, полководцам, героям войн и олимпийского спорта. В наше время оды писать перестали. Поздравляют всё больше простенько: по телефону, порой телеграммой, а теперь по Интернету. И не как прежде, в рифму, в стихах и с музыкой, а в прозе. В суровой прозе. В советское время, например, писатель Виктор Астафьев всё-таки сочинил хвалебную песнь огороду. Он так и назвал её: «Ода русскому огороду». Написано талантливо (впрочем, как всё у него). Но обычно оды как возвышенный комплимент писали поэты. Кому-то, чему-то. От Горация до Петрарки, от Ломоносова до Пушкина, от Баратынского до Гумилёва и так далее. Но вот далее дело с одами как раз заглохло. В двадцатом веке, после суровых, кровавых войн и революций, этот изысканный жанр совсем увял. И пока, уже в новом веке, что-то не расцвёл, не возродился. А мне давно хотелось воспеть один бытовой предмет, который уже много лет всё служит и служит мне, а также всему человечеству. И называется он обычно и прозаично – таз. Но это был не просто таз, а его величество таз. Ни клейма, ни печати на нём не было. И неизвестно когда, на какой фабрике он рождён.

О, как долго этот эмалированный белый таз сопровождал меня в жизни! Сперва, конечно, сопровождал мою бабушку, затем маму, потом уж меня. И был твёрд, послушен и щедр, ибо был широк, глубок и распахнут. Постоянно, конечно, блестящий, поскольку, сотни раз мытый, он казался новеньким, как новорождённый. А главное, был всегда очень нужным, порой просто необходимым. И притом в самых важных и разных случаях. «Я без него как без рук», – говорила бабушка и со стуком доставала его из ларя в кухне. И мама так говорила. А потом я.

Тазы эти были буквально бесценны. Чего в них хозяюшки только не делали, не готовили! В них стирали и полоскали бельё. Представляете, сколько всякого белья благодаря тазу за целый век стало чистым? И если это бельё сложить стопкой, то, наверно, она достанет до неба.

В них замешивали и мяли тесто перед выпечкой хлеба. К каждому празднику в них нарезали уйму овощей – готовили непременный свекольный винегрет. А ещё в сезон осеннего урожая варили в кухнях из ягод и фруктов ВАРЕНЬЕ. О, этот лакомо-сладкий дивный запах булькающего в тазу варенья! И рядом седая бабушка в извечном фартуке стоит с деревянной лопаткой у горящей плиты. И я, кроха, тут же, но чуть поодаль (от горячих, случайно летящих брызг), в ожидании пенок, снятых с варенья в блюдце. Законная сладость и радость всех внуков и внучек! При варке варенья у бабушки был свой секрет: на дно таза она клала фамильную ложку из серебра, чтобы варенье не портилось. И оно действительно не портилось до следующего урожая. (Хотя специального медного таза для варки варенья у нас почему-то не было.)

Но последней каплей восторга перед тазом является его роль в купании детей. В нём перекупалось три поколения ребятишек нашей семьи. И бабушкиных, и маминых, и моих. Конечно, не новорождённых (там нужна детская ванночка), а детей подросших, которых мамы брали в общественные бани. И их румяные голые попки сидели в горячей воде на белом дне таза.

Именно с таким семейным тазом и сменным бельём, мочалкой и мылом мы ходили в баню. Домашний таз брали с собой, разумеется, для ребёнка, то есть для меня. И если в Останкино в баню мы ездили с мамой на гремящем трамвае из двух высоких деревянных вагонов, то с бабушкой ходили пешком, неспешно и чинно, как бы торжественно, пересекая Садовое кольцо. (В отличие от мамы, которая всегда куда-то спешила.) Бани «Андроньевские» были на высокой горе у Спасо-Андроникова монастыря. С горы, от стен монастырского храма, нам, как с высоты птичьего полёта, широко открывалась чудо-картина, как и некогда, наверное, рублёвским монахам-строителям. Внизу темнела любимая наша речка-невеличка Яуза с её ленивым течением, идущим к Москве-реке. Тут видели мы и мост через Яузу. А на том берегу, уже в заречье (в Сыромятниках), виднелись, как старые разбросанные игрушки, убогие серые домики, амбары, сараи, заборы. Они были глухие, словно прижатые тучами. И над всем этим стоял грай и летали стаи чёрных ворон. А мы с бабушкой перед мытьём в бане, куда оставалось рукой подать, стояли рядом, старый и малый, у святых белокаменных стен и, перекрестясь, смотрели и вдаль, и вверх – на золотые вознесённые купола и кресты. Они словно соединяли небо и землю. И мне хотелось раскинуть детские ручки, как бы сгрести, подтянуть и поднять снизу вверх все эти игрушки, эту серую даль с вороньим криком, сюда, под благой свет святых куполов.

…А вот в Останкино мы с мамой ездили мыться в баню тоже с таким же большим тазом, с мочалкой, мылом и сменным бельём. Но на гремящем трамвае № 39 – в село Алексеевское, до пятой остановки «Завод “Калибр”» (теперь это проспект Мира). В высоком дребезжащем вагоне. Толстая кондукторша в перчатках без пальцев (их отрезали, чтобы было удобней считать мелочь за проезд) кричала на весь вагон охрипшим голосом: «Граждане, оплачивайте проезд!.. Следующая – завод “Калибр”. Бани!» И, кинув монеты в сумку, висящую на животе, тут же отрывала билетики с рулонов, висящих на груди. Белый – для взрослого, голубенький – для ребёнка. А ещё у неё была метровая палка, чтоб не ездили «зайцем». Если ребёнок выше палки – плати, если ниже – бесплатно.

Ах, эти трамвайные билетики середины прошлого века… Мы их не выбрасывали, потому что по ним гадали, как по картам, «на счастье, на нечаянную радость». Например, если сумма двух первых и двух последних цифр получалась круглой, то билетик мелко рвали и… глотали. Да-да, съедали, чтобы не упустить удачу. И наша удача действительно состоялась. Папа-танкист, гвардии капитан, вернулся с войны, и даже не раненый.

А баня при «Калибре» стеной вплотную примыкала к заводу, считалась заводской, и рабочие после смен, в отличие от людей городских, мылись бесплатно. Дни мужские и женские чередовались. Расписание кассирша писала карандашом от руки и вешала бумажку снаружи на дверь предбанника. А в нём, душном и тёплом от влаги, мы разувались и раздевались догола у больших деревянных лавок с перегородкой посередине, делящей лавку надвое. На перегородке с обеих сторон наверху торчали крючки с номерами. И каждый под «своим» номером складывал своё бельё, как чистое, сменное, так и снятое. Мы туго закутывали свою одёжку в мамину юбку, в круглую, мягкую, словно болотную, кочку. И мама перекрещивала её от воров. А ещё исподнее бельё можно было бесплатно сдать в санобработку, в прожарку – от гнид, вшей и блох. После банной помывки, перед уходом, ты получал его по талону уже без паразитов. И справку в два слова с синей треугольной печатью: «Санобработку прошёл… Санпропускник №…». Но мы с мамой бельё не сдавали.

Мама, прихватив таз и взяв меня за ручку, распахивала дверь в помывочный зал. Нас тут же обдавало волной горячего пара и оглушительным шумом падающей воды, как возле горного водопада. Это лилась, гремела вода из кранов, из душа, что в углу зала, из десятков казённых жестяных шаек о двух ручках, в которой, как в тумане преисподней, мылись тела. Мокрые, скользкие тела голых простоволосых женщин. Молодых, старых и малых. Одни сидели на горячих каменных лавках, ошпаренных кипятком. Другие с шайками в руках теснились в очередях к кранам с горячей и холодной водой. Третьи мыли детей или мочалками тёрли друг другу спины. Иные, склонившись к шайкам в мыльной обильной пене, буквально как бельё, стирали свои волосы. Седые, русые, чёрные. Длинные и короткие. Мыло было разное, трёх сортов. Брусок очень тёмного мыла, которым мылось большинство, называлось «простым». Им и бельё стирали. А то, что поменьше, даже с печатью «72 %», было посветлее. Интересно, а чего семьдесят два-то? Соды, собачьего жира или чего-то ещё? И наконец, самое желанное ароматное розовое мыло называлось «Земляничное». Правда, было ещё мыло «Дегтярное», очень вонючее, но его, как правило, в баню не брали.

Обычно матери первыми мыли, конечно, детей. И те, старательно натёртые мочалками с мыльной «едучей» пеной, затем омытые тёплой водой, розово-чистые, как ангелочки, смирно сидели в домашних тазах. Смотрели по сторонам ясными глазками и отдыхали от пережитого «мучения»… Так вот и я, намытая «до скрипа», отдыхала, сидя по-турецки в прохладной воде, в нашем тазу. И всё, что сперва мне казалось в пару и шуме чуждым, как в преисподней, постепенно менялось, преображалось. Все те дети и взрослые, что в суровом мире за стенами в своих убогих, нищих одёжках – рваных ватниках, стёганках, в стоптанных валенках, опорках и сапогах, в отцовских ушанках и старых шалях – ещё сегодня с утра, возможно, жестоко ругались, друг на друга орали и дрались в очередях на рынках, в магазинах и во дворах, теперь виделись мне совсем иными. Беззащитными, добрыми, чуткими. И потому прекрасными, как в раю. «Гражданочка, потрите мне, пожалуйста, спинку», – говорит одна соседка по лавке другой, совсем незнакомой тёте. И вот они уже, словно родные, моют друг друга бережно и старательно… И сколько я ещё встречу таких преображений в своей жизни…

Эти голые беззащитные люди тёрли друг другу спины, окатывались из шаек горячей водой. А за стеной в то же время, в оружейном цеху с портретом Сталина в красном углу, под потолком, исхудалые, измученные войной и послевоенным голодом женщины и подростки в ватниках изготовляли, таскали, грузили снаряды. Разных калибров. Громыхая, плыла без остановки по цеху чёрная лента конвейера. И надрывно, словно в отчаянье, стучали, крутились станки. Горько пахло машинным маслом, железом. И сотни, сотни остроносых смертоносных снарядов скапливались в цехах у вагонеток и во дворе у платформ и товарняков. Во время войны они отправлялись отсюда на фронт, а после неё – в арсенал, в хранилища.

Жизнь и смерть дышали рядом.

А однажды, когда я была уже первоклассницей, в этой же бане, в помывочном зале, я испытала шок. Пережила сильное потрясение. Уже вымытая, я украдкой смотрела на голую маму, стоящую с шайкой поодаль, у кранов, среди таких же голых женщин. И вдруг… О ужас! – даже дыханье сбилось. Узнала в лицо Раису Петровну, свою первую, уже любимую учительницу. Но она была не она. Потому что совершенно… голая… Ну совсем, совсем гола-я. Голова, плечи, груди. И ещё… тёмный уголок у ног, как и у мамы. Они рядом стояли с шайками у кранов в ожиданье воды и, как ни в чём не бывало улыбаясь, беседовали. Да-да… О чём-то мирно, спокойно беседовали. Словно так всё и надо. Но она-то, Раиса Петровна, она же была у-чи-тель-ни-ца! Которая этим утром вызывала меня к доске… А тут была какая-то мокрая белотелая тётя о двух руках и ногах и голая… перед всеми. Ах, только б она не повернулась ко мне! Я готова была испариться. Замерла, умерла, вобрала голову в плечи. Моё лицо заливал жгучий стыд. А сердце словно не билось… Только бы она меня не заметила, не узнала. Вот такую голую. Сидящую, как младенец, в домашнем тазу… Хотелось исчезнуть, как невидимка… Но тут спасла дело мама. Она подошла с полной шайкой воды: «А знаешь, кого я сейчас встретила? Твою учительницу. Она довольна тобой». И, грохнув тяжёлую шайку на камень лавки, невольно загородила меня. И тем самым буквально спасла, как я считала, от неминуемого позора. Ведь только сегодня утром в классе эта стройная пышноволосая Раиса Петровна вызывала меня к доске. А закончив урок, громко диктовала классу домашнее задание в букваре на завтра. И вдруг… Вдруг – такое!.. Невыносимое. Немыслимое до слёз…

Ах, Раиса Петровна, моя дорогая… Как там в школьной песне поётся? «Простая и сердечная, / Ты юность наша вечная, / Учительница первая моя!» Вы научили меня русскому алфавиту. Научили ровно и бережно выводить буквы в тетрадке, макая стальное перо-лягушку в чернильницу-непроливайку. Затем из этих букв научили составлять слова. Потом слова связывать в предложения. А в предложения заключать ясные мысли. Так я стала писать. И всё благодаря Вам. И вот пишу до сих пор. Всю жизнь пишу. Даже книги. Вот о Вас пишу, дорогой мой человек… Где Вы, моя бесценная? Живы ли? А если нет, где Ваша могила? Я поклонюсь ей и сердечно припаду. Пусть родная наша земля Вас хранит. И Господь простит Ваши грехи. А у Бога мёртвых нет. Значит, и мы с Вами встретимся.

…И всё-таки, несмотря на «мелкотравчатость» бытовой темы (как тогда клеймили писателя советские критики), я хочу закончить этот рассказ словами о тазе. Сегодня, когда в городах страны практически в каждой квартире есть и ванна, и душ, не могу не вспомнить о нём. И вот сейчас, как в старинной торжественной оде, провозглашаю: «Да здравствует его величество ТАЗ двадцатого века! Ура!»

Запретный плод

Притча

Говорят, Москва стоит на семи холмах. Так вот, на вершине одного из них – Таганская площадь. И ещё вход на станцию метро, и Таганский театр рядом. А под холмом неспешно течёт, темнеет река Москва. А по другую сторону холма тоже неспешно несёт свои скромные воды река-невеличка Яуза. И берег её, и весь этот квартал называется «Землянка». Очевидно, в давние времена люди здесь жили в землянках. В этом Землянском переулке квартира моих бабушки с дедом. А родилась я в Останкино у студентов ТСХА. Но теперь, когда идёт война с фашистом, мой папа ушёл на фронт танкистом, он гвардии капитан, а мама даёт уроки музыки. И потому дед с бабушкой часто и надолго берут меня к себе. Так что у меня в Москве с детства два места силы. Останкино и «Землянка» на Яузе.

Обычно за мной приезжала бабушка и везла к себе домой с двумя пересадками на гремящих трамваях. А дедушку на фронт не взяли, дали белый билет, потому что очень его ценили. Он был доцентом, преподавал студентам в МАИ и МАТИ «Моторостроение самолётов» и писал для них учебники. Я с удовольствием ездила к ним, потому что в Землянском переулке бок о бок с домом, буквально рукой подать, была детская чудо-площадка для игр и отдыха местной ребятни разных возрастов. Высокая кружевная ограда из чугуна с калиткой, которую запирали на ночь, хранила зеленеющий по периметру кустарник шиповника, деревца кудрявых клёнов и лип. Меж ними пестрели покрашенные деревянные карусели-качели, песочницы, турники-лесенки, лавки-лавочки, столы и столики. А в углу, в домике сторожа, родители могли в обмен на любой документ арендовать на время мяч, или сетку, или игру: домино, шашки-шахматы и даже лото для стариков. В общем, не площадка, а сущий рай.

Отправляясь с бабушкой из Останкино, я заранее начинала скулить: «А на площадку пойдём?» И меня успокаивали: «Ну конечно, пойдём». И мы действительно ходили. В основном с дедушкой. Он и качал меня, и крутил, и держал, и прятался, и догонял. И только один снаряд был мне категорически недоступен. Буквально «запретный плод». Это турник. Многоярусный, сложный, сваренный из равных отрезков старых газовых труб. По этому турнику, как обезьяны, со смехом и визгом целыми днями лазала старшая детвора. И на этом турнике жизни каждый устраивался как мог, как умел. И немыслимо было даже представить, что в это же время где-то на западе, на линиях фронта, их отцы в армейских шинелях ведут бои с фашистом. Жаркие, не на жизнь, а на смерть. Там, вздымая землю, гудят и рвутся бомбы, снаряды, свистят пули. Всюду воронки. И падают, кровоточат и стонут ещё живые людские тела…

А в Москве, на берегу Яузы, домашние так горячо меня любили, что боялись, как бы я на этом турнике себе не свернула голову или что-нибудь не сломала. «Вот в прошлом году, – испуганно говорила дома бабушка, – какая-то девочка там позвоночник поломала. Скорую вызывали… Инвалидом осталась…» Но я всё равно рвалась и рвалась к этому турнику жизни. Воистину – запретный плод сладок. И однажды всё же его вкусила, когда дедушка, обычно следивший за мной издали, заигрался с соседом в шахматы. С трудом я всё-таки забралась, одолела три нижние перекладины этого опасного турника. Зацепилась за верхнюю планку ногами в зашнурованных мальчуко́вых ботиночках (шнуровала уже сама, хотя и долго. Бабушка научила. А туфельки мне почему-то не покупали. Наверно, было дорого). За вторую перекладину, железную, холодную, я зацепилась, вцепилась уже руками, прилипла ладошками и повисла вниз головой. Лбом, почти касаясь земли. И так висела вверх ногами и при этом счастливо улыбалась: наконец-то я одолела, победила этот турник. И теперь видела мир, как видит его дитя в первый день по рождении.

О-о, как всё красиво! И видится всё иначе, по-своему. Земля там, где небо, а где небо – земля. И деревья, и щетина кустов шиповника висят надо мной. И дедушка сидит там над моей головой, тоже вверх ногами, в уголке средь зелёной листвы, за дощатым столом, и с кем-то играет в шахматы. Пальтецо моё задралось, словно это два помятых крылышка птицы. Но сейчас это не важно. Я победила и увидела другой мир, и совсем по-другому. И эту победу должен был кто-то видеть. Я громко, с восторгом кричу, буквально взываю чужим от напряжения голосом: «Дедушка! Дедушка!.. Посмотри!.. Посмотри, как я умею! Как могу!» В первый момент он даже не может понять, откуда доносится голос внучки. А поняв, приходит в ужас и кидается, рассыпав фигурки шахмат, ко мне, к турнику. А я ликую: вот оно – счастье!.. Вот он – момент истины!..

…Миновали годы и годы. Даже десятилетия. (А не столетия ли?) За спиной долгая жизнь. И я с трепетом вспоминаю ту площадку в Землянском переулке на берегу Яузы. И вечером у себя в кабинете, заканчивая работу над очередным текстом для новой книги, где, как всегда, на земле небо, а земное на небесах, ставлю точку. Прикрыв глаза, устало откидываюсь в кресле. И почему-то так хочется, чтобы кто-то тёплой рукой ласково, как в детстве, погладил по головке. А в ответ я негромко скажу: «Посмотри, посмотри, как я могу, как умею»… Но вокруг тишина. Тихо и глухо. Все близкие давно ушли на тот свет, в лучший мир. И я представляю: когда явлюсь к ним, они с улыбкой скажут: «Всё знаем, всё читали… Да-да, умеешь, умеешь. А теперь – спаси тебя Боже, спаси. Может, и заслужила».

Послесловие

Как-то меня спросили: «А эта детская площадка в Землянском переулке до сих пор жива?»

К сожалению, нет. Её площади хватило как раз для возведения многоэтажного блочного одноподъездного дома для проживания сотрудников соседней Яузской больницы.

Путешествие в обратно

В Москве я ходила в две школы. В основном училась дома в Останкино, в школе № 271, а живя у бабушки на Таганке-Землянке – в школе № 423. (Этой землянской школы, что на Садовом кольце, давно уже нет, в её стенах какой-то колледж.) А вот 271-я помнится мне ярко. Она стояла на краю глубокого оврага, по дну которого протекала грязная речушка Каменка, которую мы, дети, называли «Тухлянка». И вливалась она у села Ростокино в Яузу. А овраг отделял Останкино от улицы Маломосковской, то есть от проспекта Мира. Потом речку заковали в трубу, а овраг засыпали строительными отходами. (Вереницей со всего города шли и шли к оврагу гружённые ломом и отходами самосвалы.) И стал бывший овраг называться Звёздным бульваром, на котором насадили даже и деревца. И моя родная школа 271, никуда не перемещаясь, оказалась не на краю оврага, а на бульваре…

Как-то, уже в девяностые годы, лихие и мерзкие, будучи уже вдовой и живя на Преображенке, к празднику Седьмого ноября (красный день календаря) я решила навестить любимую школу. Вспомнить призывный звук её звонков на перемены, запах её классов, лестниц и коридоров – Запах Детства. И, сев за руль своего жигулёнка, поехала в Останкино… У талантливого киношника и поэта Гены Шпаликова, тоже, как и я, вгиковца, есть замечательные строки (которых тогда я не знала): «По несчастью или к счастью, / Истина проста: / Никогда не возвращайся / В прежние места. / Даже если пепелище / Выглядит вполне, / Не найти того, что ищем, / Ни тебе, ни мне. / Путешествие в обратно / Я бы запретил, / Я прошу тебя, как брата, / Душу не мути. / А не то рвану по следу – / Кто меня вернёт? – / И на валенках уеду / В сорок пятый год. / В сорок пятом угадаю, / Там, где – боже мой! – / Будет мама молодая / И отец живой».

А знай я тогда этот завет, надо было бы его исполнить.

В физкультурном зале школы для родителей и учителей были расставлены столики со стаканами и печеньем. Я нашла местечко где-то в углу. Но меня оттуда прогнали. Оказывается, места тут были пронумерованы по классам. Пришлось искать другое. Смуглолицый директор школы Юсуф Рашидович, о котором мне рассказали, поздравил всех с праздником. По-русски он говорил плохо. С восточным акцентом, с ошибками в ударениях. Это был немолодой неказистый таджик из Душанбе. И женщины его многочисленной привезённой семьи тут же работали учителями, а одна, то ли сестра, то ли жена, даже преподавала детям русский язык и литературу. (Вот она, пресловутая «дружба народов».)

Мне помнится, в каждом классе у нас под потолком висели в ряд на белом фоне большие портреты великих писателей русско-советской литературы. А под ними, скрывая почти все стены, пестрели сине-зелёные географические карты Европы и двух полушарий мира. Эти два полушария, словно всевидящие глаза, мудро смотрели на нас, буквально на каждого школьника, сидящего в классе за партой. И дальше за окна, на улицу, город, на небо. И с этими картами нам, малышам, было сидеть так тепло и спокойно… Ну а высокие кабинеты физики, химии, полные разных реторт, весов и пробирок, полные тайн и загадок, так и манили, и звали к непознанному…

Слушать директора московской школы, родившегося в далёком Душанбе, мне не хотелось, и я по-тихому вышла из зала. Не спеша прошлась по гулким пустым коридорам. Они показались тёмными, узкими, не теми, что прежде. Заглянула в классы. Никаких карт, никаких портретов писателей, лишь хмуро торчали, смотря в потолок, ножки десятков перевёрнутых стульев…

Я вышла на школьный двор в некоторой печали. Воистину, всё не то и не так. Над головой спокойно сияла звёздная ночь… Хотя вот он, всё тот же пригорок, за которым шла дорога в моё дорогое Останкино, к Шереметевскому дворцу. Зимой, садясь на портфели, мы, румяные ребятишки, всегда катались со смехом по этому взгорку, по снежно-ледяному увалу. И весёлой

кучей-малой, и по отдельности. А я в школу ходила не с портфелем, а с папиной полевой фронтовой сумкой на лямке через плечо. С той самой, с которой мой папа-танкист воевал с фашистами и в Белоруссии, и под Будапештом. И которую, вернувшись с войны, подарил мне. Съезжать на ней с горки было особенно здорово. И если, смеясь, не свалиться набок посередине горы, то на этой сумке можно было докатиться до самых стен школы. Как всё это было здорово, весело, счастливо!..

Я, поскрипывая по снегу, не спеша, задумчиво обошла школу вокруг. Передо мной тянулся довольно пустынный Звёздный бульвар с давно выросшими тополями и редкими фонарями. За спиной светились окна школьного физкультурного зала, где директор-таджик, учителя и родители отмечали «красный день календаря». А я вспомнила время, когда тут ещё был овраг, по дну которого текла Тухлянка. Он разделял наш район надвое. На одной стороне – нищее Останкино, на другой – проспект Мира с новостройками громоздких дорогих многоэтажек. И оба берега оврага соединялись толстенной чёрной металлической трубой, по которой, чтобы не обходить далеко, дочки госчиновников с проспекта ежедневно бегали на уроки в нашу женскую школу № 271. Порой на этой трубе, на самой её середине, происходили девчачьи дуэли, рукопашные битвы портфелями. Побеждённый мог свалиться прямо в Тухлянку или рядом. А всем болельщикам на берегах оврага всё это было очень смешно и интересно. Победитель гордо ступал на «большую землю», а побеждённый выкарабкивался наверх по склону. Бывало, и я участвовала в таких дуэлях, тем более что у меня была фронтовая папина сумка, а не портфель. Наша 271-я школа долго, как в старину, оставалась сугубо женской. И только позднее в школах ввели совместное с мальчиками обучение. «И всё смешалось в доме Облонских».

С ночного, тёмного неба на Москву, как всегда, бесстрастно смотрели звёзды. Мой белый жигулёнок ждал меня неподалёку у тротуара. Сев за руль, я поехала к метро «ВДНХ». И вскоре подобрала там первого же голосующего. Мне опять предстояло всю ночь таксовать, развозить пассажиров по вокзалам, улицам и переулкам. А проще говоря, добывать гроши на «хлеб наш насущный». Шли девяностые годы двадцатого века.

Ягодки-грибочки, леденец в мешочке!

За жизнь у меня скопилось множество фотографий, целый чемодан. И вроссыпь, и в альбомах. Помню, ещё мама приводила их в порядок. Вклеивала на твёрдые страницы альбомов и аккуратно подписывала своим красивым почерком. И год, и героев, и событие. И это очень мне помогает. Разбирая и рассматривая эти старые чёрно-белые карточки, я телепортируюсь в любое десятилетие прошлого. На днях грядёт 2025 год. Третье тысячелетие от Рождества Христова. Неужто же дожила? Просто не верится!

И вот нашла в архиве фото – тоже новогоднее. 1947 год! Только что кончилась Отечественная война с фашистами. Папа-танкист, гвардии капитан, орденоносец, вернулся к нам домой в Останкино, и, о счастье, даже не раненый. И помимо прочего привёз трофейный фотоаппарат под названием «Лейка». Папа чудесно фотографировал, с большим вкусом и на всю жизнь полюбил это дело. Вот и сейчас я держу эту его новогоднюю фотографию.

На ней я, малышка, стою в верхнем ряду в украинском костюме и в веночке (в угоду отцу, рождённому в Малороссии), сплетённом мамой из сухих и старых бумажных и тряпочных цветов, а на затылке привязаны разномастные ленточки. Рядом и моя ровесница, двоюродная сестра Лиля с братом Толиком, чудесным курносым бутузом. Их привезла тётя Ляля Никольская. И ещё слева сестра Таня, с чёлкой, дочь дяди Толи Мельникова (Никольского). А также соседские барачные дети.

Мои родители и бабушка Зина отважно решились в тот трудный, голодный год порадовать родню, а особенно детей. Наконец-то после войны отменили продуктовые карточки, но продмаги ещё пустовали, и достать еды (да и денег) и накормить (в праздник) целую ораву гостей было трудно. Но моя мама-искусница смогла, исхитрилась… Она долго выискивала, копила продукты, чтобы порадовать гостей. Вывешивала за окно с трудом добытую курицу (о холодильниках тогда и не мечтали). В углу комнаты поставили и украсили большую, до потолка, ёлку, где-то раздобытую папой. И комната сразу наполнилась запахом свежести, хвои, елового леса. Ведь ёлка наконец была Сталиным разрешена, ибо после революции была объявлена «пережитком буржуазного прошлого».

А мама готовила праздничный стол. И из этой единственной синей курёшки, муки и картошки она умудрилась приготовить вкусный праздничный ужин и всех накормить на славу. Бабушка тоже взялась помогать. И, помолясь шёпотом в спальне, всю ночь шила-строчила на своей ручной «зингеровской» машинке мешочки из серого дешёвого ситца для детских подарков. И не просто мешочки, а буквально создавала произведения искусства. Снаружи мешочки были несхожие. На каждом из них были пришиты разные картинки: яблоко-грибок, ягодка-цветок. Их бабушка аккуратно вырезала ножницами из старых тряпок, одежды и пристрачивала к мешочкам. Содержание их было одинаковым: яблоко, мандарин, пряник, пара печеньиц, пяток конфет и, конечно же, леденец – петушок на палочке. А папа прятал эти подарки под ёлку, поглубже, чтоб не было видно.

Праздник удался на славу. Мама то и дело играла на пианино, дети читали стихи, водили хоровод вокруг стола, стоящего посередине («В лесу родилась ёлочка, / В лесу она росла…»). Я, развлекая гостей, танцевала вокруг стола разученные раньше и барыню, и гопак, и даже лезгинку. Зажав в зубах карандаш, словно кавказский кинжал, и одновременно выбрасывая обе руки то вправо, то влево, вприпрыжку скакала меж ёлкой и пианино. А мама громко аккомпанировала, подпевая шутливо: «На заборе птичка сидела / И такую песенку пела: / “Несмотря на рваные ботинки, / Мы станцуем танец кабардинки”». Почему я танцевала лезгинку, а танец назывался «кабардинка», я и тогда не понимала, и до сих пор не знаю…

А братик Толик, стоя на табуретке, читал стишок: «Новый год, Новый год, / Приходи скорее! / И у нас хоровод / Станет веселее!» И наша сестра Лиля тоже читала стишок: «На весё-

лых детских ёлках / Чудеса блестят в иголках, / И под ёлкой в Новый год / Каждый что-нибудь найдёт». И действительно, после шумного и вкусного застолья детям предлагалось найти под ёлкой свой подарок. И мы по очереди, встав на четвереньки (попками вверх), извлекали свой мешочек – ягодку или грибочек.

И потом, глубоко затемно, пока ещё ходили гремящие трамваи, гости уезжали из нашей останкинской глуши в свой центр, уезжали в своё будущее двадцатого века. И каждый малыш увозил в сердце крупинку счастья. А в ручках держал бесценный подарок с ёлки 1947 года.

А не так давно в старом чемодане с тряпками я вдруг наткнулась на ветхий серый мешочек с ягодкой на боку. И замерла. Не может быть! Неужели это то самое бабушкино рукоделие, её искусная работа? Мой подарок с той самой чудо-ёлки? Невероятно!.. И решила написать вот этот этюд. А ещё я переслала это чудо-фото той самой сестре Лиле и братику Толе Никольским. И посоветовала им показать его своим взрослым внукам. Похвастать: вот какие мы были малыши, когда наступал тот послевоенный новый, 1948 год.

Катаман

Раньше я не понимала, почему это старики плохо спят. И очень мало, им достаточно трёх-четырёх часов. Вот и я дожила до их лет и теперь понимаю. Лежу в ночи, в темноте спальни. И в голову лезут всякие нелепости, несуразности. Помню, например, нашу комнатку в бараке Останкино. Я, малышка, у родителей молодых, красивых, талантливых – первая и единственная. Все прочие дети будут потом, от других соитий и браков. А пока они, студенты, обожают друг друга и им не до меня. Я сижу где-то в углу кровати, таращу глазёнки и слушаю. А у них то и дело шум, гости тоже юные и красивые. Смех, песни и танцы. Мама играет на пианино и поёт, поёт… И вокруг все хором громко поют песни самые разные. Но те, что потише, мне нравятся больше. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, / Головой склоняясь до самого тына?..» А мне почему-то слышится в общем хоре: «…склоняясь до Самалатына»… Я понимаю, что рябина – дерево, что ей грустно и она доверчиво склонила свою головку до какого-то Самалатына. Но кто такой этот Самалатын, я не знала и даже вообразить не могла. Но думала, наверняка кто-то очень хороший и добрый, раз бедная рябина в минуту скорби склонила к нему свою головку… Так этот неведомый мне Самалатын и жил много лет в моём воображении. А повзрослев и поняв, что нет никакого Самалатына, а есть тын, попросту обычный забор под окном, я была горько разочарована…

А ещё из ночных бдений представляется другое вспоминание. Я, малышка, вместе с нашей барачной ребятнёй играю в салки-догонялки на своей 3-й Останкинской. Водящий должен догнать и рукой осалить убегающего. И я, быстроногая, почти догоняю соседа, вечно сопливого Витьку-Хрюню, но вдруг, споткнувшись, падаю со всей силы на землю. До крови ссаживаю, сдираю обе коленки. Реву и, к сожалению, выбываю из игры. И, хромая от боли, иду домой. Мамы дома нет, а папа, увидев мои ободранные в кровь коленки, бросает свои дела и начинает меня лечить. Его одеколон страшно щиплет ссадины, и я реву ещё громче. А папа приговаривает: «Терпи, казак, атаманом будешь». И повторяет вновь и вновь. А мне почему-то слышится: «Терпи, коза, катаманом будешь». Кто такой «катаман»? Кто такая коза, я знала отлично.

Недалеко от нас, у прекрасного дворца графа Шереметева, на берегу пруда паслась эта самая рогатая серая коза. Её держала хозяйка из соседнего переулка и пасла её возле графского дворца, у въездных ворот со львами. Она привязывала её к колышку, который втыкала поглубже в землю. И коза ходила по кругу на длину верёвки. Трава в этом кругу бывала выедена до корней. Тогда коза тянулась дальше. В конце концов колышек вырывался, и она волочила его за собой, привольно гуляя по заросшей травой канаве нашей улицы. И доходила аж до наших бараков. К вечеру хозяйка искала её, а найдя и громко чертыхаясь, как на ребёнка, уводила упрямицу домой.

Так что козу я хорошо знала, а вот кто такой «катаман», не представляла. И думала: наверное, это какой-то добрый папин начальник, который то и дело посылает его в Сибирь, в командировки. И ради которого я должна терпеть боль. И я терпела…

И вот прошла целая жизнь. Навсегда исчезли мои и «катаманы», и «самалатыны», как навсегда исчезло и детство середины двадцатого века…

Вот какие нелепости порой приходят в голову бессонными ночами…

Нет ничего удивительней, светлей и благословенней, чем Детство.

* * *

Как-то за ужином я поторапливаю дочку-малышку: «Не тяни время. Ешь и пей». А перед сном она вдруг и спрашивает: «Мамуль, а кто такой этот самый Эшипéй?»

Облачно. Порою осадки

Притча

Мы с мамой возвращались домой в Останкино, как тогда говорили, «из города». Были в гостях, поели досыта, вкусно. А за чаем свои два кусочка сахару мама украдкой опустила в карман. На потом. Для меня. В Москве голодуха, продукты и хлеб по карточкам. (Папа-танкист с фронта ещё не прибыл.) Мы долго ехали в высоком дребезжащем вагоне трамвая с номером тридцать девять «во лбу». А выйдя на предпоследней остановке «Третья Останкинская улица», шли вдоль ряда двухэтажных побелённых бараков, которые были построены ещё до Отечественной войны для лимитчиков, строителей Сельхозвыставки (ВСХВ, ныне ВДНХ). Наш барак в этом ряду был последним, шестым, почти у Шереметевского дворца. Видно, что недавно здесь прошёл дождь. Небо было ещё пасмурно, холодно. Но воздух чист, влажен и свеж. Так и хотелось дышать и дышать поглубже. К тому же на другой стороне улицы, где «частный сектор», фруктовые сады вокруг дачек благоухали. Листва и яблоки были как на картинке – белы, красны, буквально умыты обильным дождём. А аромат их был так густ, что казалось, кусаешь сочное яблоко.

Моя мама в одной руке держала модную довоенную дамскую сумочку, а другой вела за ручку меня, малышку. Рука в руке, ладошка к ладошке. Тепло и надёжно. На земляном тротуаре перед нами то и дело блестели, словно осколки зеркала, лужи и лужицы. Мы аккуратно их обходили, чтоб не промочить ноги. Но вдруг возле одной я замерла. Встала как вкопанная. На её дне увидела розового земляного червячка. Он был недвижим и бледен. И я тотчас пальцами достала его, утонувшего, из воды и положила на ладонь, мысленно говоря: «Эх ты, дурашка, захлебнулся? Что, от дождя спасался? Да?» И вдруг мама вскрикнула резко, громко: «Фу, гадость какая! Брось! Сейчас же брось эту гадость! Сейчас же! Вдруг там зараза какая? Холера, тиф?.. Брось, слышишь?»

Конечно, я слышала, но, обычно всегда послушная, не бросила. А мысленно говорила: «Ты, наверно, вверх от потопа полез. Подышать. А тут ещё больше воды». И я, в три шага отойдя к забору и наклонясь, раздвинула жёсткую, как щетина, траву и опустила бледное тельце на землю: «Давай, оживай. Ползи к себе в норку. У тебя, может, там детки…» И показалось даже – он понял и вздрогнул. Потом мы с мамой шли дальше. Но она уже не подавала мне руку. Мои покрасневшие пальцы были холодны и мокры. С них капало. А мама всё возмущалась, сердилась: «Фу, гадость какая!.. Сейчас же будешь мыть руки. И обязательно с мылом». Так мы и подошли к дому. Мама достала из дамской сумочки звякнувшие ключи, повторяя: «И тщательно, и с мылом». К дверям мы подошли не вместе, а рядом. Каждая сама по себе. И бледная мама нервничала, не сразу смогла попасть ключом в замочную скважину.

…Интересно, сколько всё же за свою жизнь я спасла таких розовых дождевых червяков? Только называть их надо правильно. Червь земляной, обыкновенный (лат. Lumbricina). Ареал широк…

Хлеб наш насущный

Новелла

Однажды журналистка меня спросила: «А вы помните своё первое, – она улыбнулась, – первое сентября?»

Я задумалась: действительно, а каким оно было? И всё-таки вспомнила нечто очень давнее…

…Наконец-то настал 1945 победный год. Но страна, истерзанная войной, ещё никак не могла прийти в себя. Буквально голодала, не было урожаев, не было хлеба. И даже Москва голодала. Да так, что ввели талоны и карточки на продукты. На месяц – 200 грамм сливочного масла (по цене 1050 рублей) и хлеб, одна буханка за 1000 рублей (при средней зарплате в 1000 рублей). В тот год папа-танкист вернулся с фронта, слава Богу, живой и даже не раненый. Вся грудь в орденах и медалях. Но пойти работать, как прежде, на Сельхозвыставку не мог. ВСХВ, разбитая фашистскими бомбёжками, была ещё долго закрыта. А чтобы попасть в Наркомат земледелия, в отдел сельхозтехники, куда папа подал заявление, нужно было ждать.

Пока же он решил тем летом поехать всей семьёй на Украину, в его родное село Пединовку, к младшей сестре Надежде – вдове с двумя сынками-погодками. Тем более что в школу мне было ещё рано. Там, в Пединовке, хлеба тоже, конечно, не было. Зато была кукуруза, тыква, горох. И сады, сады… Фруктов полно, прямо у хаты растут.

– Ещё дед сажал. – Отец помолчал с минуту. – Если, конечно, фашист не вырубил. И Надежда нам будет рада. Её погодки нашей доче почти ровесники. Пора бы с братьями-то познакомиться. А Надя даже козу завела.

И мы, заперев в Останкино нашу барачную комнату, уехали на Украину.

Родовая папина хата, где хозяйничала тётя Надя с детьми, была в селе крайней. Зато сад, полный фруктовых деревьев, смотрел в просторную жаркую украинскую степь, где пролегал в Черкассы старый пыльный шлях. И по нему попарно лениво тянулись на ярмарку рогатые волы, покусанные слепнями. Тащили длинные телеги с мешками дорогой соли. А изнурённый жарой, палящим солнцем хохол, лёжа на горе соли в рваных шальварах и вышиванке, порой сонно вскрикивал в небо: «Цоб-цобэ! Цоб-цобэ!» Напоминал о себе рогатым волам, вяло шевеля лозиной.

Урожай в садах в тот год был, как всегда, богатый, ноге ступить некуда от красных яблок, синих крупных слив и ароматных жёлтых груш. И эта благодать буквально сразила нас. После московской голодухи мы буквально набросились на эту роскошь. И мама сразу принялась варить варенье во дворе, в тазу на печурке. Нельзя же добру пропадать. Хозяйка тётя Надя следила за животиной. Коза, поросёнок, гуси. А папа принялся за ремонт хаты и даже сколотил туалет. Однако август уже был на исходе, лето кончалось, и папа сказал маме:

– А почему бы, Нинуська, не отдать нашу доньку в сентябре в школу? Пускай учит мову. Вдруг пригодится? Я могу завтра пойти и договориться.

И мама с радостью согласилась. Вот так я и оказалась в средней пединовской школе. Принарядив в чистенькое, мама отвела меня туда первого сентября. Как говорится, «первый раз в первый класс». Правда, это была не московская школа, да и класс необычный. Посередине села красовалась большая белёная хата (как и все остальные в Пединовке) с резными наличниками и с нахлобученной по самые окна толстой соломенной крышей. А в большом, просторном классе (тоже с белёными стенами) стояли длинные столы и лавки, за которыми сидели дети разного роста и возраста. А учительница на всех была одна, общая. И я не понимала, о чём она говорит то одним детям, то другим по-украински, языком быстрым, напевным.

По-хохляцки, как в шутку говорила моя мама. Да и папу она, улыбаясь, часто называла: «Ах ты моя хохляндия». И мне в Москве на праздники мама плела и надевала украинские веночки. И танец гопак под её аккомпанемент я танцевала отлично.

У этой учительницы на уроках я могла отгадать лишь редкие, схожие с русскими, слова. Перемена начиналась со звонка не колокольчика, а глухим дребезжанием бо́тала, с которым одинокие коровы паслись по лугам, чтобы не потеряться. В это самое ботало «звонил» под окном старый сторож, поскольку в селе электричества тогда ещё не было. Заслышав такой «звонок», вся ребятня высыпала во двор, и я за ними. И тогда все начали что-то жевать, кто варёную кукурузину, кто яблоко, продолжая при этом разглядывать меня, москальку, с особым любопытством: «Ишь, прилетела откуда». А я достала из кармана свой кусок вкусного хлеба, посыпанный сахарным песком, заботливо приготовленный мамой.

Вышла во двор и учительница и, проходя мимо, спросила:

– А цэ шо у тэбэ?

Я сразу её поняла и ответила:

– Хлеб.

И в тот же момент вокруг меня раздался такой дружный хохот. На разные детские голоса. Такой, что я испугалась: «Что, что я не так сделала? Не так сказала?» Улыбнулась и учительница и по-русски сказала мне назидательно и как бы оправдывая своих учеников:

– Надо правильно говорить не «хлеб», а «хли-иб». Поняла? «Хлиб». – И ушла.

Ребятня вокруг ещё долго смеялась, передразнивая меня: «Хлеб… Хлеб…» А я спрятала недоеденный сладкий ломтик в карман и стояла с полными слёз глазами…

А вечером, когда смерклось и над хатами и садами раскинулось чёрное небо в проколах звёзд и вся наша семья (родители, тётя с детьми) собралась за столом поужинать и обсудить мой первый учебный день в пединовской школе, мама невзначай попросила кого-то подвинуть к ней ближе тарелку с аккуратно нарезанными ароматными ломтиками хлеба. Его испекли буквально из последних поскрёбков муки, сметённых со всех уголков на дне деревянного короба. И тут я гордо и громко, чтоб слышали все, и, конечно, надеясь на похвалу, произнесла:

– А правильно надо говорить не «хлеб», а «хли-иб».

На секунду повисла тишина, но потом вдруг дружный смех залил хату. Надо мной все смеялись, хоть искренне и по-доброму. И папа, тоже сквозь смех, сказал:

– Ну вот, доня, даже и новую мову за день освоила. Вот тебе и День знаний.

А я оторопела. Сперва сидела недоумённо, как каменная. А потом вдруг рванулась из-за стола в дверь, выскочив вон из хаты. И с плачем, миновав двор, забежала в какой-то сарай. Забилась в тёмный угол на сено и всё всхлипывала, утирая ладошками мокрые щёки. А растревоженные сонные гуси, тихонько, сочувственно погагатывали, пока папа не нашёл меня, уже спящую, и на руках не отнёс в дом.

Вот таким я вспомнила моё первое первое сентября двадцатого века.

И это тоже XX век

Штрихи к портрету

Незадолго до смерти в 1980 году мой муж, художник Юрий Ракша в своих дневниках написал: «Моя жена – мой верный друг на всю жизнь, и в радости, и в горе, мой единомышленник, первый зритель и первый критик. Я знаю, как много факторов должно соединиться в благом сочетании, чтобы художнику стать художником, чтобы художник осуществился, поэтому так важно, кто всю жизнь с тобой рядом». И действительно, от той, которая с тобой всю жизнь рядом, зависит многое, а порой почти всё. На православной Руси именно так и было. Зачастую даже вопреки своим творческим карьерам, своим биографиям женщины, словно жёны декабристов, посвящали свои жизни мужьям, помогали раскрыться их талантам. И имена мужей в полную мощь расцветали на фоне русской культуры. Например, это жёны-соратницы Льва Толстого, Набокова, Бунина, Блока, Пришвина, Бондарева, философа Алексея Лосева, Астафьева и др.

Но, к сожалению, можно сказать о том, что список гениальных писателей мог быть гораздо длиннее, если бы у всех жёны были такими самоотверженными. И, размышляя об этом, я почему-то подумала о двух значительных именах, о двух поэтах, известных и ярких талантах двадцатого века. В. В. Маяковском (1893–1930) и А. А. Вознесенском (1933–2010). Как видите, они обрамляют начало и конец прошлого века.

А почему я вспомнила этих известных поэтов «к сожалению»? Потому что они могли бы стать именами шекспировского и пушкинского ряда, но, к сожалению, не стали. И этому есть причина, и имя ей – женщина. Вернее, две женщины: Лиля Юрьевна Брик (урождённая Лиля (Лили) Уриевна Каган) и Зоя Борисовна Богуславская. И если говорить коротко и начистоту (и думаю, что их биографы тут со мной согласятся), именно эти две женщины не дали поэтам в полной мере осуществиться и даже вычеркнули их из списка талантов высочайшей пробы.

Помните стихи Маяковского? «Allo! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сёстрам, Люде и Оле, – ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которые изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома». Эти стихи Владимир Маяковский написал Лиле Брик после неожиданной встречи с ней, придя в гости к её сестре Эльзе (урождённая Элла Юрьевна Каган, будущая парижанка Эльза Триоле, жена коммуниста Луи Арагона). На мой взгляд, эта встреча с Лилей и оказалась началом конца поэта Владимира Маяковского. Всю свою жизнь, до пули, пущенной себе в висок, у него было желание освободиться от этого смертоносного увлечения. Хотя он всегда хотел иметь семью, мораль того времени позволяла жить втроём (Володя, Осип Брик и Лиля).

И может быть, даже стоит перечислить, хотя бы штрихпунктирно, все попытки великого Маяковского создать свою семью. Когда он жил в США, то был искренне влюблён в Елизавету Петровну Зиберт. (Она его провожала в Россию на время, но оказалось – безвозвратно.) У него родилась дочь Патрисия, которая прожила на земле 89 лет и взяла фамилию мужа – Томпсон. Что интересно заметить, Маяковский видел свою дочь в жизни один-единственный раз. Зиберт привезла дочь-малышку в Европу, в Швейцарию. И, зная, что в это время Маяковский посещал Париж, послала ему весточку: «Если хочешь увидеть свою дочь, приезжай». И они увиделись. (Биографы писали об этой трепетной встрече.) После этого Патрисия прожила ещё многие годы (1926–2016).

Но и потом Маяковский много раз пытался сбежать, вырваться из крепких объятий Лили Брик, которая умело его удерживала возле своей юбки. (К тому же Брики в последние

годы жизни Маяковского существовали на его большие гонорары.) Во время работы в «Окнах РОСТА» у него случился серьёзный роман с Лилей Лавинской, которая родила сына. Да-да, второго ребёнка, по имени Глеб-Никита Лавинский. Но и это не всё. В Париже он вновь влюбился и чуть было не женился на Татьяне Яковлевой, которой сделал предложение и посвятил свои творения и эти бессмертные строки: «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови». Или ещё: «Иди сюда, иди на перекрёсток моих больших и неуклюжих рук». (Гениально же сказано, не правда ли?)

Была и ещё очень серьёзная влюблённость Маяковского. В актрису МХАТа Веронику Полонскую, с которой были долгие глубокие отношения. Она была последней, кто видел Маяковского живым. Убегая с очередного свидания с ним, ещё на лестнице услышала роковой выстрел. И, бросившись обратно, увидела в комнате на полу его большое распростёртое тело. Ему было всего 36 лет.

Что же касается Андрея Вознесенского, то, пользуясь пунктирной формой повествования, скажу, что он много раз пытался освободиться от Богуславской. Когда-то, в начале их отношений, он, молодой и неопытный мальчик (она старше его почти на 15 лет), действительно посвятил ей стихотворение «Оза» (Зоя). Однако в дальнейшем всегда мечтал вырваться из этих объятий. Уходил от неё надолго и, казалось бы, навсегда. И всё это происходило на глазах у всех нас, у всего Союза писателей. На стороне у него даже родилась любимая дочка (биографы знают это всё подробно). Но опытная Богуславская каждый раз умудрялась вернуть поэта. И никогда не собиралась покидать данную ему лично квартиру в высотке на Котельнической и, конечно, казённую дачу в Переделкино. Об одном из эпизодов жизни этой «семейки» я написала рассказ «Поцелуй медузы».

В моём дневнике для будущего читателя я сделала короткую и объективную запись, лично мою точку зрения. Две эти дамы, мечтая вписать свои имена, себя любимых, в историю русской литературы, и погубили двух ярких поэтов, Маяковского и Вознесенского. А о том, как это произошло, биографы написали немало книг. Это дело биографов-либералов пятой колонны. У меня же как писателя совсем другие задачи.

Брик пережила мужа почти на полвека и покончила с собой, наглотавшись таблеток снотворного. А Богуславская, бывшая «созидательница» «Триумфа», до сих пор жива (ей стукнуло 103 года). Более того, ещё год назад получила абсурдное предложение руки и сердца от одного старика фотографа, и она не как анекдот, а всерьёз, без юмора, горделиво рассказывает об этом. И даже никогда не вспоминает о многих скелетах в своём платяном шкафу. А он у неё, очевидно, очень объёмный, чтобы все поместились. (Например, о коррупционере и предателе Родины Б. Березовском и его валюте, работавшей на её личный фонд и на сына от первого брака.) Эта дама от культуры и не думает каяться и, как прежде, спекулирует именем погубленного ею Андрея Вознесенского.

И обе эти хищные фарисейки въехали-таки на загривке ярких имён поэтов, на их славе в историю советской литературы. Изначально не имея для этого никаких талантов, кроме своей бесовской хитрости.

Что ж, Бог правду видит, да не скоро скажет.

Синус-косинус

Этюд

Ребятне из Останкино – и мелюзге, и старшеклассникам, – чтобы дойти до своей школы № 271, надо было миновать два особых участка. Один из которых назывался «Первомайка», а второй – «Казанка». Участок справа от дороги предназначался для Академии наук, для столичной элиты и был красиво назван в честь Первого мая – праздника всех пролетариев, всех трудящихся на земле. Это была пара десятков финских домиков, нарядно построенных и светло окрашенных. К тому же огороженных высоким чугунным забором, плотно обсаженным кустами колючего боярышника. За забором жила элита. И оттуда то и дело доносились удары по теннисным и волейбольным мячам. Доступа туда простому люду не было.

А если идти по дороге дальше, то по левую сторону надо было пройти мимо другого участка, мимо «Казанки». В те годы (индустриализации СССР) люд нищий, люд худородный и даже безродный попёр за лучшей долей из сёл в города и прочие новостройки коммунизма… По всей стране стали как грибы расти вокруг городов барачные самовольные поселения: Нахаловки, Пыталовки, Ненашевки, Незнанки, Завираловки… Вот и Москву опоясали такие «Нахаловки». И у нас в Останкино по пути к моей школе появилась такая «Чёрная Казанка». Преступный мир бараков из тёмных брёвен был опасен для прохожих. Юные хозяева «Казанки» часто лупили наших, останкинских. Могли порой даже отнять и портфель, и мешочки с чернильницей-непроливайкой или сменной обувью для физкультуры. Мы казанских очень боялись. Все дети там были из семей зэков, в прошлом сидельцев, в настоящем или же в будущем. «Казанка» жила по своим строгим нормам и понятиям.

Но однажды вдруг всё изменилось. По новому закону Министерства образования объединили школы мужские и женские. И в нашем классе появились мальчишки, в том числе и из «Казанки». Главным из них был Лёнька Цимбал, сын казанского авторитета, который уже отсидел своё где-то под Казанью и считался наставником всей «Казанки». Сидел Лёнька на задней парте, поскольку был очень высок и плохо учился, был двоечником, метил во второгодники. А это портило всю картину успеваемости нашей школы. И в дирекции было придумано «прикреплять» отличников и ударников к отстающим. Попарно. Вот и меня без спросу «прикрепили» к этому самому отстающему Цимбалу. Надо было его подтянуть хотя бы к концу четверти. Таким образом я и оказалась в самом эпицентре этой опасной «Казанки», на втором этаже тёмного убогого барака для лимиты.

На кухне без двери под потолком слабо светит в сырой духоте одинокая лампочка. Под крышками кастрюль что-то булькает – хозяйки варят ужин. Керосинки горят тихо и даже уютно – в их крошках-окошках еле теплятся огоньки. На кухонных столах тут и там синим пламенем шипят-гудят примусы. По потному стеклу высокого единственного окна ползут мокрые дорожки «слёз». А мы с Лёнькой – я, кудрявая отличница в наглаженной школьной формочке, в чёрном нарядном фартучке, и он, востроносый хулиганистый двоечник, – занимаемся в углу на кухонном столе тригонометрией. (У него в комнате нельзя и негде, полно народу – детская беготня, крики, плач.) А мы на кухне вдвоём уткнулись носами в школьные тетрадки, в учебники, разложенные на изрезанной, рваной клеёнке. И Лёнька на фоне барачных шумов вяло твердит мне шёпотом: «А если, к примеру, мы берём косинус… Или нет… Возьмём, например, тангенс угла…»

В кухню то и дело с любопытством заглядывают соседки. Порой, прислушиваясь к учёным словам, что-то мешают ложками в своих кастрюлях. И густые столбы пара – горячего, сытного – тотчас вздымаются к потолку. А я, тоже тихим шёпотом, исправляю Лёньку: «Ну смотри

же, смотри… Тут же не косинус, а синус. Синус, понимаешь, синус…» Иногда посреди нашего занятия за окном со двора доносится мальчишеский крик: «Лёнька-а! Цимба-ал!.. Выходи-и!..» Это дружки зовут его на «трамвайное дело». Это был промысел лёгкий, привычный – шманать по карманам и сумкам. В народе назывались они щипачами. Лёнька тотчас встаёт во весь свой немалый рост и в два шага подходит к окну. А поняв, кто и зачем зовёт, делает отмашку: мол, занят я, потом, потом. И послушно возвращается ко мне, к учебнику.

Сперва я с опаской посещала «Казанку». А потом ничего, привыкла. Даже ходила туда с некой гордостью, помахивая портфелем. Ведь я – наставница самого Цимбала… И с тех пор действительно средний балл успеваемости по школе стал подрастать. Многие второгодники отменились. Вот тебе и «синус-косинус». А прохожие перестали бояться ходить по дороге мимо «Казанки».

А дальше… Как пишется в плохой прозе, «с тех пор прошли годы». И я, живя с семьёй уже не в Останкино, а в другом районе Москвы, однажды получила по почте письмо. Судя по адресу, оно было из моего издательства, а внутри – конверт с Крайнего Севера, с полуострова Таймыр. Странно, там у меня знакомых вроде бы не было. Может, от какого-то читателя?

«Приветствую Вас с берегов Ледовитого океана! – прочла я первые строчки, написанные авторучкой. – Недавно в красном уголке нашей **метеорологической** станции, что стоит среди льдов и снегов, я случайно наткнулся в библиотечке на книгу Ваших рассказов “Скатилось колечко”. И даже с большим фотопортретом. Дочитал до конца. Но поскольку Вашего адреса не знаю, отправляю это письмо на адрес издательства, данный в книге. Надеюсь, Вам передадут или перешлют.

А у нас за окном полярная ночь, метёт низовая позёмка, предвестник лютой вьюги. А ещё завтра с утра ждём рейса. Должен прилететь самолёт, получим очередную почту, топливо, продукты. А ещё очень ждём борт ледовой разведки.

Но самое главное, прилетит новый метеоролог, мой конкретный начальник. И с этим же бортом мы посылаем почту на Большую землю, куда и отправится это письмо. Я тут работаю уже второй год. После ПТУ и разных курсов получил подъёмные и по лимиту попал сюда. Да и северную надбавку дают. У нас здесь всё есть, и даже больше. Врать не буду, белых медведей здесь не видел, зато любопытные песцы то и дело на станцию забегают. Белые-белые, на снегу видно только три чёрные точки: нос и глаза.

Порой вспоминаю нашу “Казанку”, жизнь в Останкино. А увидев в библиотечке Вашу книгу, вспомнил и наши уроки на кухне.

Если получу ответ, опишу свою жизнь и планы».

А оканчивалось письмо довольно романтично:

Я не Пушкин, не Крылов,
Не могу писать стихов.
Лишь скажу четыре слова:
Цвети, люби и будь здорова.

Леонид Цимбал.

«Боже мой! – подумала я. – Это же мой подопечный Лёнька Цимбал – наш “Синус-косинус”. И теперь он уже не шпана с какой-то “Казанки”, а полярник, уважаемый специалист с Таймыра». Воспоминания просто нахлынули. И школьные годы, и наши занятия на кухне в том самом бараке. Ах, как же давно это было! И крупица того моего труда, оказывается, не пропала.

Я уже давно живу в другом районе Москвы, давным-давно нет той когда-то знаменитой элитарной «Первомайки». И конечно же, той опасной нищей «Казанки» с её бомжами и сидельцами. А та дорога к школе ещё существует, как бы соединяя собой разные времена и

эпохи. Тянется прямо от дворца графа Петра Шереметева, **храма иконы Божией Матери «Знамение»,** через пруд, мимо телецентра и телебашни к Звёздному бульвару, к школе № 271.

Я отложила письмо и отошла к окну. Передо мной, залитая полуденным солнцем, широко раскинулась сияющая Москва. На горизонте был виден устремлённый в небо шпиль Останкинской телебашни, место силы, где прошло моё детство и юность, где когда-то была «Казанка». И я тепло и сердечно подумала: «Пускай мой подопечный одноклассник – хулиган “Синус-косинус” – остаётся там, в том времени, на той самой кухне. Ведь каждому времени – свои песни».

Сегодня же надо будет написать ответ. Пусть летит моё письмо «с бортами» на этот далёкий-далёкий Таймыр. Оказывается, теперь у меня и в Заполярье есть свой читатель. И почему-то в голове промелькнула строка песенки: «Ты не спишь, / А в окно к тебе ломится / Ветер с полюса, / Жгучий до сильного».

Он был у нас всего лишь раз

Очерк

В тот год наш с Юрой день рождения заканчивался уже за полночь (наши с мужем дни рождения мы часто праздновали в один день, поскольку они рядом, 19 ноября и 2 декабря). И когда всё мной наготовленное было почти съедено и алкоголь, купленный для праздника, почти весь выпит, половина гостей разъехалась, пока метро не закрылось. Кто на метро, кто на такси, кто на своих машинах. Гостей осталось уже немного, и тут в нашей «хрущобе» на Преображенке, на пятом этаже, раздался звонок в дверь. Я пошла открывать. На пороге стояла моя давняя подружка из Болгарии Дина Накова, в то время она обосновалась в Москве и даже хотела остаться тут навсегда. За её спиной стояли два мужичка, и оба показались мне знакомыми. Один – артист МХАТа Сева Абдулов (не путать с высоким красавцем Сашей Абдуловым). А вторым был кумир Севы, на тот момент уже всем известный бард-песенник, но и не менее известный алкаш, бабник и бузотёр – Володя Высоцкий из Таганки. Ни одной его книги, ни одного стиха никто не видел в печати. Поэты не принимали в свои ряды, зато партийные боссы и дворовые пацаны слушали его голос, его хриплое пение с восторгом. Копировали его с магнитных плёнок буквально по всем краям и весям. Но выступать на сценах в ДК и клубах ему не разрешали.

Неужели это пришёл сам Высоцкий собственной персоной, который выступает и на корпоративах, и на разных квартирниках, и всегда за деньги? Ведь на мизерную зарплату в театре (80–120 рублей) не проживёшь. А на квартирниках добирал в два раза больше.

– А мы решили тебя поздравить, – говорит болгарка Дина. – Я же знала, что у вас сегодня день рождения.

И как я поняла, заодно и похвастаться передо мной своим знакомством с этими великими. А великие между тем прошли мимо меня в гостиную комнату, где гости при виде их, конечно, оторопели, потом зашумели, обрадовались. Ведь барда и его песни тогда уже знали в каждой подворотне. А Высоцкий, увидав на столе недопитые бутылки и в углу нашу гитару, уселся на незнакомый диван. Стал привычно перебирать струны, как всегда делал это и в других домах. И запел своим хрипловатым, как будто надтреснутым голосом. Сперва негромко, как бы разминаясь и привыкая к инструменту и к аудитории, а затем всё громче и уверенней: «Аппарат и намётанный глаз – / И работа идёт эффективно, – / Только я – столько знаю про вас, / Что подчас мне бывает противно…» Но это нисколько не обижало аудиторию, ему благодарно хлопали, просили петь дальше. И, пожалуй, только мой Юра был недоволен приходом этих гостей.

Потом кто-то предложил им выпить за именинников, и день рождения, словно подкрученный патефон, продолжился с новой силой. Однако вскоре, с началом такого неожиданного концерта, всеми был забыт сам повод нашего праздника. И вся встреча превратилась в домашний концерт пришедшего гостя, так называемый квартирник. И никто уже никуда не спешил. А Высоцкий совсем завёлся и стал петь свои песни, как всегда, как бы взахлёст – одну за другой. То пел, то проговаривал, а порой кричал. И даже страстно. Как на разрыв аорты. «Тут поднялся галдёж и лай, / И только старый Попугай / Громко крикнул из ветвей: / “Жираф большо-о-ой – ему видней!”»…

Даже я стала слушать это пение раскрыв рот, и мешала только мысль: «А чем мы с ним будем расплачиваться?» А когда за стеной раздавался детский плач – просыпалась наша маленькая дочка Анюта, – я, забыв про всё, бросалась её успокаивать. И, повторюсь, только моему Юре, прекрасному семьянину, этот неожиданный концерт был совсем не по душе. Все

знали, что Высоцкий в это время жил и со второй женой Люсей Абрамовой, родившей ему двоих детей, и с актрисой Танечкой Иваницкой, нашей бывшей сокурсницей по ВГИКу, и уже с парижанкой Мариной Влади.

Все слушали восторженно, со вниманием, хотя большинство песен мы уже знали от сидящего среди нас Вити Вучетича (нашего друга и сына знаменитого скульптора Евгения Вучетича). Все новинки и Галича, и Высоцкого, и Визбора Витя приносил нам. И кто из них пел лучше – сам Высоцкий или Вучетич, – надо было ещё посмотреть, вернее, послушать. Болгарка Дина буквально расцвела, и не от вина и закусок, а оттого, что смогла привести к нам таких гостей. За стеной наша дочка то и дело просыпалась от голоса барда, и я опять и опять бегала в соседнюю комнату её успокаивать. Высоцкий порой менял место, садился на ковёр спиной к батарее и уже так, на полу, пел и играл свои песни. А между делом новые гости в конце концов допили всё, что было на столе.

Ближе к утру настал момент, когда мой воспитанный и терпеливый Юра – примерный муж, сын и отец – вызвал болгарку Дину в кухню и тихо и строго сказал:

– Ну сколько можно? Зачем ты его привела? Все устали, ребёнок просыпается.

Она посмотрела испуганно:

– А я хотела сделать для вас подарок.

– Ничего себе подарочек. Спасибочки.

В очередной раз укладывая Анюту, я услышала, как за стеной гитара наконец прощально звякнула и наши новые гости протопали к выходу, на лестничную площадку. Ушли.

Когда квартира совсем опустела и за окном зазвенели трамваи, где-то во дворе зашаркала метла дворника. Над Москвой, над Яузой и Стромынкой чуть забрезжил молочный рассвет. Нашу квартиру и нас объяла вдруг глухая, звенящая тишина, словно тут никого и ничего и не было. Этой краткой и яркой встречи, как не от мира сего. Звук к звуку, глаза в глаза… Хотя каждый из нас отпечатал эту встречу в душе, как фотоснимок. Отныне и навсегда.

Я устало опустилась на стул и, вздохнув, тихо сказала мужу:

– А всё же зря ты его не нарисовал. Хотя бы сделал бы набросок, как ты порой это делаешь…

Юра, убирая гитару на место, ответил не сразу, но твёрдо:

– Знаешь, Ирок, портрет надо ещё заслужить.

И я, помолчав, добавила:

– Пожалуй, ты прав… Что ж, поживём – увидим. Время покажет.

Нет сил забыть

Гениальному созданию Творца – КОШКЕ.
С любовью и покаянием

Не люблю писать о чём-то скверном, о негативном. Рука не поднимается. Но жизнь есть жизнь. И приходится, особенно если душа болит. А душа болит… то и дело.

В тот незабвенный тяжёлый 1994 год в стране и на Алтае отмечали 40-летний юбилей такого бренда, такого понятия, как «целина». А я к нему имела отношение самое прямое. Ибо я, москвичка, волей судьбы оказалась первоцелинницей, строительницей совхоза «Урожайный» с первых вагончиков и палаток. К тому же параллельно стала и выпускницей 10-го класса школы в соседнем селе Грязнуха (ныне Советское). Я откликнулась на присланное мне в Москву приглашение на юбилей. И вот в «Урожайном» и в райцентре я активно участвую в праздничных мероприятиях. Выступаю, читаю свои стихи и прозу. И даже в клубе на сцене под бурные аплодисменты зала получаю в подарок из рук начальства сияющий электросамовар. (Он у меня и поныне дома сияет.)

Но покидать любимый Советский район, не повидав прежних одноклассников, было негоже. И я встречалась с ними и в стенах школы, и, конечно, приватно, по избам-домам. Ежедневно. Приглашали буквально нарасхват… А некогда в школьном классе моей соседкой по парте была чудо-подружка, беленькая молчунья Клава Растворова. Смиренница и хорошистка, родом из соседней деревни Сетовка, где тогда десятилетки не было и в помине. И сетовским (Растворовой, Вале Федяниной, братьям Парахиным, Унжакову и др.) приходилось ездить на уроки с оказией или на велосипедах. Помню в 94-м обиженно надутые Клавины губки (даже и за полтинник она была хороша и мила): «Так что ж, Ирин, ты теперь и Сетовку нашу не удостоишь вниманием? Совсем зазналась? В Бийске была, в “Урожайном” была, в Сростках, в Кокшах. А мы что, хуже?» Да нет же, ну как, как Сетовка могла быть хуже? Такая красавица на фоне чудесных хребтов Бабыргана… О, эти сельские встречи-праздники старых друзей! Они ждут отдельных ароматных и вкусных восторгов. С их застольями под звуки баяна, с пирогами из местной облепихи, с ягодными наливками и настойками и, конечно, с раздольными, сильными, как река Катунь и сам Алтай, песнями.

И вот, отгуляв в Сетовке, мы, три подружки-одноклассницы, отправились в перелесок на прощальный пикничок-девичник на берегу речки. В овражке хрустально звенит ручей, «воздух чист, прозрачен и свеж». А между нами накрыта «поляна», скатерть-самобранка с бутылкой наливки посередине и домашней снедью. И такая на душе благодать разливалась, что млела душа.

– А помнишь, Ирин, как я у тебя годовой диктант списывала? Буква в букву. А в результате разные оценки получили. Тебе четыре поставили, а мне три.

А Федянина смеётся:

– А меня вообще на переэкзаменовку отправили.

И мы все вместе, три возрастные тётки, дружно смеёмся. И наливаем по рюмочке.

Валька Федянина работает продавщицей в сельпо, а моя Клава – в детском саду воспитателем. И у нас, троих соклассниц, судьба, к сожалению, не сложилась. И у красотки Клавы, и у Вальки Федяниной. С мужиками в Сетовке дело всегда не спорилось. Вот и мы все три одинокие горемыки. Я вдова. Клава без мужа взрослую больную дочку растит. Живут втроём с матерью, во дворе пёс Тузик. А больную потому, что сама виновата. Стараясь скрыть от деревни позор, изо всех сил стягивала живот то ремнями, то полотенцами. И сама родная мать втихаря от соседей доставала ядовитые травки за немалые деньги. Сама злое зелье варила, сама отраву готовила. Но невинный плод отчаянно боролся за жизнь, и красотка Клава, румяная, юная,

родила-таки несчастное полоумное существо – дочку с помятой головкой. На неизбывное горе буквально всем: и селу, и семье, и самой себе… А отец этого горе-дитяти, ушедший в армию, вернулся уже с городской женой.

У Вальки вообще завал (она и в школе была только Валька, второгодница): у неё дома, как и в магазине, всегда проходной двор. То один поживёт с полгода в качестве мужа, то другой появится и исчезнет. А она и сейчас бабёнка была интересная, крепко сбитая, хоть и на пенсию скоро. Да и смешно бы ей плохо жить – опытной продавщице при получке из единственного сельмага. Где недовес, где перевес… К тому же и дом из кедра от предков ей достался всем на зависть. С русской белёной печкой с лежанкой, которая тепло держит по нескольку дней.

И вот сидим мы в лесу, три бедолаги, и вспоминаем, ворошим память.

– А где ж Колька Жданов, братья Парахины? Генка вроде бы на медаль шёл… – спросила я.

– Да Генка Парахин на бийской женился, даже машину купил. Правда, на этих же «жигулях» и разбился. Пил много. А Колька у нас теперь глава администрации.

И пошли у нас под звон рюмочек с наливкой, под вечернее пение птиц и хрустальный звон ручья «А помнишь?.. А помнишь?..». С удовольствием скребли по сусекам памяти.

– А староста где Глушкова?.. А что с Борькой-то Унжаковым? В классе первый красавец был, прям на зависть.

Клава живо откликнулась:

– Да теперь он не просто Борька – он теперь богач, коммерсант в Новосибирске. Впрочем, про него лучше у Вальки спроси, – кивнула она на Федянину.

Но потом почему-то повисла минута молчания. А подружки переглянулись. И Валька, налив себе очередную полную рюмку, наконец сказала с ухмылкой:

– Да, он ко мне сватался. Помню, зима была. Я тогда так старалась, готовилась, конечно, бутылочку припасла. Занавески поменяла на окнах, затопила нашу русскую фамильную печь с лежанкой. И босая быстрее принялась мыть полы. Вдруг слышу – кто-то царапается. Вспомнила: я же кошку всегда бросала в подпол мышей ловить. Ну и открыла люк. Тут кошка и правда выскочила с мышью в зубах. И прямо лапами по чистому мокрому полу. «Ах ты, тварь такая! Да ты что ж это делаешь?!» – заорала я. И в сердцах, схватив, швырнула её в жерло печи, горящей рядом, и придвинула заслонку, даже чугунком придавила: «Вот тебе, тварь такая, получай!»

Я была в шоке, не могла и рта открыть, и слова произнести. Представила, как погибало там живое существо: сперва кошка билась в заслонку, потом сквозь пламя по горящим углям кинулась в дальний конец жерла и, продолжая гореть, стала протискиваться в чёрную дыру дымохода, который в несколько колен уходил в трубу. Однако на втором повороте уже замерла. И густой чёрный дым повалил из трубы в комнату.

А Федянина продолжала со смешочком, почти шутя:

– Вот так и сорвалось моё сватовство, моя свиданка. Моя личная жизнь. Я тогда чуть вовсе не погорела. Белая печь стала чёрной, и белые шторки мои почернели на окнах. Да ещё в копеечку встала разборка трубы дымохода забитого, всей печи. Вот так мне эта тварь отомстила. С тех пор не держу никаких кошек.

Вокруг стояла всё та же зелёная благодать. В кронах над головой порхали и пели птицы, под склоном журчал ручей. Но я сидела окаменев. И словно оглохла. За четыре угла мы собрали нашу скатерть, нашу девичью «поляну», и, позвякивая в сумках пустой посудой, молча пошли в деревню по тёплой, мягкой от пыли дороге. Красное закатное солнце склонялось за близкий синий хребет Бабыргана. Всюду смеялась жизнь, а мы шли молча. Я – совсем убитая, как с похорон, хотя мои бывшие одноклассницы шагали менее подавленные.

Вот так печально и окончился наш девичник в селе Сетовке. Валька шла рядом, и я заметила, как из её глаз текли слёзы, а встречный ветерок свежо обдувал её мокрые щёки.

После рассказа об этой трагедии я, улетая домой, всё твердила себе: «Господи, помилуй нас, гадких и грешных». С тех пор и поныне как вспомню тот случай, так и болит душа. И сегодня твержу и твержу сокрушённо и покаянно: «Прости и помилуй НАС, грешных, Господи!»

Два неожиданных этюда

I

Известный советский прозаик Иван Фотиевич Стаднюк (08.03.1920 – 30.04.1994; роман «Война», сценарий «Максим Перепелица» и др.), с которым мы дружили, не раз бывал у меня дома в гостях. И не один, а с писателями старшего, то есть своего, поколения фронтовиков. С М. Горбачёвым, М. Семенихиным, М. Алексеевым, Г. Регистаном. Они много и интересно рассказывали о своих военных историях. Об эпизодах, которые, к сожалению, не вошли сюжетами в их книги. А я их запомнила и о некоторых даже написала.

Так вот, однажды знаменитый Иван Фотиевич позвонил мне по телефону: «А можно я, Ирина, приеду к тебе в гости, и не один?» – «Ну конечно», – сказала я. А когда на входной звонок я открыла дверь, то чуть не упала. Рядом со Стаднюком стоял… Сталин. Да-да, Иосиф Сталин.

– Мне о вас не раз говорил Иван Фотиевич, – представился гость. – Очень приятно, Джугашвили Евгений Яковлевич.

И в моей голове сразу мелькнул известный факт, как Сталин на предложение поменять его сына Якова, попавшего к фашистам в плен, ответил: «Солдата на фельдмаршала не меняю». (Он имел в виду Паулюса, попавшего в советский плен.)

Евгений Яковлевич, приезжая из Грузии в Москву, не раз бывал у меня в гостях со Стаднюком. Я приветливо, сердечно принимала их. Ведь не в каждый дом Джугашвили ходит в гости. А однажды он даже подарил мне свой фотопортрет, достав его из нагрудного кармана военной полковничьей формы, и коротко подписал: «Шикарной Ирине Ракша от безнадёжно влюблённого Е. Джугашвили. Проба “Мосфильма”. 1982 год» (режиссёр Бондарчук приглашал его сняться в роли деда, Иосифа). Больше никогда я этого человека не видела, но наше знакомство запомнила навсегда.

А знаменитый фронтовик Иван Стаднюк, лауреат многих премий и орденов, похоронен на Кунцевском кладбище, с выстрелами почётного караула. С сыном Стаднюка, Юрием Ивановичем, директором «Воениздата», я дружила потом много лет.

II

К сожалению, я почему-то никогда не вспоминала постоянно бывавшего в нашей ЦДЛовской тусовке Давида Маркиша, или попросту Додика. Одного из двух сынов прекрасного еврейского поэта Переца Маркиша, арестованного и тайно расстрелянного советским режимом в подвале Лубянки в 1952 году (вместе с рядом других выдающихся деятелей еврейского происхождения) по облыжному делу за «шпионаж и измену Родине». Однако в те годы ни вдова поэта Маркиша, Эстер Ефимовна, ни старший сын, Сима, ни младший, Давид, не знали этих страшных подробностей.

Среди нашей молодой литературной тусовки Додик выделялся своей красотой, был выразителен и изящен. Он жил с матерью в шикарной квартире своего исчезнувшего отца в конце улицы Горького (ныне Тверская улица), выходящей окнами (не помню, какого этажа) прямо на площадь Белорусского вокзала, на памятник Максиму Горькому. Додик, волокита и дамский угодник, тогда недавно женился на очень красивой девушке, польке Ядвиге, студентке Московского института геодезии и картографии, которую из ревности никому не показывал. И насколько я помню, никогда не приводил в ЦДЛ. Боялся – вдруг уведут, отнимут. Всем гово-

рил, что это его первая и вечная любовь. И все мы верили и уважали его за это. И кажется, Давид успокоился, остепенился.

Однажды волею судьбы мы с чувашским поэтом Геной Айги – талантливым студентом Литинститута – были приглашены Додиком в квартиру его семьи. (Его старший брат Сима был где-то в эмиграции, кажется в Венгрии.) А их мать Эстер Ефимовна Маркиш была прекрасной хозяйкой и баловала молодожёнов своей кухней. Обихаживала молодых, пекла по своим рецептам сказочные блинчики и пампушки. И в тот раз на просторной кухне мы пробовали эти её великолепные яства, запивая душистым чаем. Однако красавица Ядвига, по-польски нежная, воспитанная, изящно одетая, начала кокетничать с гостями, а вернее, с Геной Айги, маленьким, некрасивым, к тому же от роду картавым и шепелявым. И неожиданно такое поведение жены Давиду не понравилось. Он начал мрачнеть, даже стал неприлично унижать жену. А потом и вовсе разразился скандал с опрокинутым стулом и чашкой. Он чуть её не ударил и неожиданно стал гонять из комнаты в комнату по просторной квартире. А мы с Геной и мамой принялись горячо успокаивать его и даже перекрывали двери. Скандал, конечно, кончился нашими общими усилиями и плачем жены где-то в глубине квартиры. Уж я не помню, как мы расстались, однако этот яркий эпизод почему-то врезался в память.

Уже спустя годы я была с делегацией советских писателей в Париже и, зайдя с коллегами в какое-то небольшое кафе, ела там потрясающие блинчики-пампушки. Оказалось, что кафе это принадлежит Эстер Ефимовне Маркиш, которая порой любила приветствовать появление у неё гостей из России. И я просто обомлела, когда хозяйка Эстер в зале кафе подошла к нашим столикам. Она была по-прежнему достойна, улыбчива и приятна, как и некогда у себя дома на Тверской. Но меня она не узнала, и я себя не обнаружила. А может быть, зря?.. Многое бы узнала, многое бы прочувствовала. Это кафе-блинная (с особенными рецептами Эстер) было очень популярно в Париже среди эмигрантов благодаря именно блинам-пампушкам.

Дальнейшей судьбой Давида Маркиша в нашей тусовке как-то не интересовались. Но наш друг, музыковед Феликс Розинер, тоже эмигрировавший сперва в Израиль, потом в Штаты, как-то сообщил нам с мужем, что он хорошо знаком с Давидом Маркишем и даже сотрудничал с ним в Тель-Авиве.

Мы ведь с Давидом одного года рождения, ровесники. И надеюсь, он жив и по сей день. Интересно, помнит ли Додик свою первую жену и истинную любовь, кается ли? А этот мой этюд – просто как небольшой штрих к портрету того удивительного времени.

Тайная ставка фюрера

(об А. Гитлере)

После смерти моего мужа я много лет дружила с писателем Иваном Фотиевичем Стаднюком. А в 1982 году он, тоже вдовец, даже предложил мне свою «руку и сердце». Я отказала, хотя мы и потом долго оставались приятелями. И даже в каком-то году (?) по его приглашению (а он был секретарём Союза писателей) вместе с группой коллег поехали на экскурсию в Винницу (близ Житомира), на родину Стаднюка. Эта поездка оказалась потрясающей, поскольку именно в Виннице в период Великой Отечественной войны была построена фашистами единственная ставка Гитлера на востоке. Об этой нашей поездке можно было бы написать большой, интересный, поучительный рассказ, но я ограничусь короткими впечатлениями.

Шикарная ставка была построена тайно на небольшой территории (4 км^2) в винницком сосновом бору, начиная с дома приёмов с залом, кабинетом, спальней и даже бильярдной. Со всеми коммуникациями и связями с внешним миром. Тут было всё: кухня, гаражи, конюшни, подземные чудо-бункеры, другие хозяйственные постройки и даже бассейн для купания фюрера. (И вскоре строители ставки были все до одного расстреляны, во избежание утечки любой информации.) Гитлер там бывал трижды в 1942 и 1943 годах.

К нашему приезду туда все остальные свидетели уже скончались от старости. (Обслуга Гитлера была расстреляна раньше, и до последнего человека. А потом и те, кто стрелял.) От ставки остались лишь развалины да молодая зелёная поросль на холмах бывших построек этого засекреченного места. И на меня, и на всю группу писателей произвели впечатление даже не остатки завалившегося бункера, поросшего зеленью, а бассейн посреди этого участка.

И вот я, потрясённая, стою на бортике бывшего бассейна. И трудно себе представить, что здесь, именно вот здесь это чудовище Гитлер, поплавав в бассейне, с удовольствием поплескавшись, вылезал своим белым бабьим телом, касаясь мокрым брюхом вот этой бетонной серой стены… И потом, накинув халат, пил с помощниками что-то горячее.

Интересно, о чём он думал? Что и как планировал, например, на завтра?

И вот что здесь теперь… Местные колхозники из соседней деревни в этом бассейне с толстыми бетонными стенами и дном соорудили яму для силоса. Квасят в ней корм для своего стада, своей скотины. И кислый запах, поднимаясь от тёмной поверхности, плывёт повсюду. Для осознания непостижимо!

Конечно, надо было бы спросить Стаднюка, а что его предки из Винницы знали об этой фашистской ставке. Но мы не спросили, по сути – боялись. В те годы мы много чего боялись. Вот какой объект больше всего запомнился мне из той поездки. Вот какую картину буквально подарил нам Иван Фотиевич Стаднюк. Спасибо ему.

Как я могла, да не стала миллионером

Рассказ от первого лица

Начиная писать этот рассказ, я представляла его вполне лёгким, почти юмористическим. А начав, поняла: нет, всё-таки правда жизни берёт своё, и юмор, лёгкость уходят на второй план.

Я не раз бывала в Финляндии, в Хельсинки, а однажды даже за городом, в глубинке, в густых сосновых лесах, у своей финской подруги Пирки. Она к литературе, к искусству не имела никакого отношения. Была коммерсантом, и, вероятно, хорошим, даже богатым. Она много лет торговала лесом и внутри страны, и на экспорт. Брёвна, кругляк, хлысты, брусья и другие пиломатериалы. Всех этих трудов на лесоучастках воочию она, конечно, и в глаза не видала. Работающие там бригады лесорубов, заготовителей были где-то далеко на севере страны. А деньги от их работы в столицу плыли и плыли.

Познакомилась я с Пиркой в Хельсинки, в редакции журнала «Анна», где печатался какой-то мой рассказ. Мне её представили как коммерсантку, чуть ли не миллионершу. Она хорошо говорила по-русски, поскольку в молодости училась в Ленинграде. И, сидя в кафе напротив редакции, мы с ней разговорились.

В городе у неё и квартира была, и офис фирмы – сотрудники, соратники, документация. А меня она неожиданно пригласила в гости к себе домой, в семью, куда-то за город.

– Вы же всё-таки пресса, – сказала она, – а с прессой надо дружить. Вдруг что-то напишут?

И я подумала: «А почему бы и нет? Интересно же изнутри посмотреть, как живут финские миллионерши». Тем более что виза в моём загранпаспорте это ещё позволяла.

Её красивый т-образный особняк, а в нём и выставочный зал для покупателей, были к северу от столицы. Дом делился на две части: жилая половина для своих, для семьи и зал для деловых встреч. Огромные окна, как стеклянные стены от пола до потолка, одноэтажного зала выходили на шоссе, ведущее из столицы вглубь страны. По шоссе изредка проезжали машины. А жилое крыло перпендикулярно уходило вглубь хвойного леса. Вернее, лесов, плотно простиравшихся вокруг до горизонта. Весь дом довольно простецкой железобетонной архитектуры, а рабочий зал почти всегда был пустым. И в нём вдоль стены тянулась красивая витрина с образцами разнообразных пород деревьев. Под каждым на этикетке латынью было написано название, качество и даты жизни и смерти дерева. И на каждом спиле были чётко видны годовые кольца. Древесина была главным богатством этого края, который раньше назывался Карело-Финской ССР. В Москве и до сих пор на выставке (на ВДНХ) в кругу на фонтане «Дружба народов» среди других стоит изящная золотая фигура девушки-финки с хвоей, с ёлочкой под ногами как символ шестнадцатой нашей республики, которой уже не стало. Эту фигуру девушки-финки великодушно, по-русски, не убрали, оставили, чтобы не уродовать произведение искусства. Но здесь никто об этом не помнил или не хотел вспоминать.

Пирка свою семью – двух старух, мать и её сестру-близняшку, а также двенадцатилетнего сына Йохана (безотцовщину) – держала на этой своей престижной «даче». Сюда же она привезла и меня – престижную русскую гостью.

– Делай тут что хочешь, – сказала она. – Ешь, пей, гуляй. Вот твоя комната. А вот это моя. И не напрягайся. Не обращай внимания ни на что. Считай, что это финские твои каникулы. Отдохни от борьбы и забот в вашем «совке».

И действительно, я провела в гостях в Финляндии почти полмесяца и не пожалела.

Думаю, конечно, надо начать этот рассказ с её любимого, единственного сыночка Йохана. Его юное, свежее личико всегда было как маска, без выражения. И понять, рад он чему-то или сердит, было нельзя. Пирка его обожала и во всём потакала. Например, спрашивала меня:

– Посоветуй, как быть? Прямо замучил. Просит купить ему мотоцикл. Скоростной, самый лучший. «Харлей». И дело не в том, что этот «Харлей» дорогущий, дороже моей «японки». Дело в том, что у нас по закону нельзя водить мотоцикл до четырнадцати. А ему только двенадцать. Конечно, он мальчик рослый. Да и на своё имя я могла бы купить. Но он же гонять будет. А у нас полиция строгая. Штрафы пойдут, потом не откупишься.

Вот уж тут я никак не знала, что и посоветовать.

Из школы после уроков Йохан приезжал домой на автобусе. Своим ключом открывал дверь и, не обращая ни на кого внимания, шёл из прихожей в конец коридора, в свою комнату, самую дальнюю. По пути раздевался и, возможно нарочно, всё разбрасывал по сторонам. Шапку, потом шарф, варежки, куртку, а ранец просто забрасывал, открыв дверь, в свою комнату. И я, у которой было полно свободного времени, не стеснялась за ним убирать. Дома у меня такой свободы не было и не будет. Бледный лик этого маленького хозяина был всегда почему-то уныл и безотраден. Он в упор не видел и своих-то родных старых бабушек. Для него они были просто пустым местом. Да и мать, а уж тем более я, случайная гостья. Жил в доме ещё и крупный серый кот с чёрным хвостом и ушами, очень напоминавший сиамского. Но Йохан попросту воевал с ним, при любой встрече мог пнуть или как-то обидеть. И в часы, когда Йохан был дома, кот на глаза не показывался.

А ещё я с удовольствием поливала три пальмы в доме, стоявшие возле стеклянных стен. И пылесосила помещения, поскольку всё пустовало. А незнакомый мне пылесос фирмы «Сименс» был просто чудо, о таких у нас в России тогда и не мечтали.

– А ты очень нравишься моим бабкам, – сказала однажды Пирка, вернувшись из города. – Говорят: «Где ты нашла такую хорошую русскую домработницу?» Я им объясняю: «Она не домработница, а журналист, писатель из Москвы». Вот, и книжку твою им показываю. Вот портрет.

И, открыв мой роман, она и правда поставила книгу в кухне повыше, на подоконник. Окно там было необычное, горизонтальное, смотрело буквально в бледное небо с тёмными кронами зелёных сосен. Книга была открыта на моём фотопортрете, который смотрел внутрь кухни и всем приветливо улыбался… Правда, улыбался до тех пор, пока кто-то не закрыл и не шлёпнул книгу набок на подоконник. И я поняла: нет, не хочет юный Йохан со мной дружить. Кстати, в доме я нигде не видела ни одной книги, ни одной иконы, даже малой Божией иконки…

Старухам тоже было не до меня, они всё время лопотали по-своему, как говорится, по-чухонски. Ведь в старой России финнов называли чухонцами. Я в охоточку пылесосила пол, вытирала пыль и в комнате у Пиркиных бабушек. В их комнате было душно, но очень тепло, а у каждой одинаковой койки на одинаковой тумбочке стояли ещё и одинаковые чашки с водой, и в них лежали зубы, одинаковые вставные бело-розовые челюсти. И мне не то что трогать всё это, а даже глядеть на них было боязно. Но старушки и без этих челюстей хорошо ели и довольно бойко болтали между собой на своём языке. Эти маленькие чухонки и по дому ходили взявшись за руки, как привязанные. Они и правда были близняшки, в начале века рождённые с разницей в десять минут. И были совсем не хороши собой. За свою долгую жизнь они стали свидетелями всех событий, что случались с маленькой их страной. И столько могли бы порассказать. Но они не могли, не умели. Вообще-то, люди этой нации приземистые, квадратные и как будто совсем без шеи, казалось, что голова, как бильярдный шар, сидит прямо на плечах.

Я как-то спросила Пирку:

– Как ты обходишься без помощницы? Ведь то и дело оставляешь своих бабулек одних.

– Я, конечно, могла бы сдать их в дом престарелых. Как в санаторий. Тем более они вдвоём там не соскучатся. Но зачем?.. Зачем мне терять почти две тысячи зелёных? У вас вроде так доллары называют? А мне за их содержание ежемесячно капает из «Фонда здоровья». И на медицину там, и на прочие всякие ванны, массажи, витамины… – Пирка лукаво смеётся. – А я в конце года отчёт за всё это сочиняю. Бабки мои крестики ставят вместо подписи. Плохо ли?

Я киваю согласно:

– Конечно, две тыщи зелёных – совсем не плохо. – И мгновенно вспоминаю наших бедных убогих старух в каждой семье. – Совсем не плохо…

А на следующий день мы поехали с ней затариться продуктами в соседний административный посёлок. Там в центре были и супермаркет, и префектура, и почта, и школа, где учился Йохан. Однако первое, что бросалось в глаза на центральной площади, – это клумба и посередине неё не розовые кусты, как это и полагалось бы, а серая слепая железобетонная стена метров пяти высотой, частично раскрашенная разноцветной мазнёй и чёрными каракулями. У основания лежали такие же длинные приставные лестницы. На одной из них, почти на самой верхотуре, стоял паренёк и что-то рисовал на стене чёрной краской из баллончика.

– Интересно, а что это всё значит? – спросила я удивлённо.

– Да это у молодёжи мода теперь такая, – объяснила мне Пирка. – Граффити называется. Рисуют цветными красками что попало и где попало. Только дома портят. Вот наш мэр и поставил для них эту стенку. Говорит, пускай себе забавляются, рисуют хоть в пять слоёв. Это лучше, чем дома́ портить или травку курить.

– Что, и Йохан тут рисует?

– Ну да, я ему дорогих красок накупила.

– А где же его рисунки?

– Так вот же они, красные, синие. А это, наверное, его одноклассник-соперник замазывает, а сын завтра на другой стороне что-нибудь новенькое придумает.

Я и правда однажды через открытую дверь увидела в его полупустой комнате решётчатую стену с ячейками от пола до потолка, и в каждой хранились лежащие на боку большие баллоны с разными пёстрыми красками, от белой до чёрной. И я опять подавила своё удивление, поскольку нигде в Европе таких картин, граффити, ещё не видела.

А вот супермаркет был похож на все европейские магазины, хоть и стоял он тут среди соснового леса. Стекло, алюминий и свет, сплошь белый свет. Весь маркет залит этим холодным, ледяным светом. И бесконечно-длинные красивые ряды с изобилием продуктов: рыбные, мясные, фруктовые, грибные… А уж каких вин и прочего алкоголя тут только не было! И Куба, и Мексика, и Чили, и Италия… Пей – не хочу. И раз уж об этом зашёл разговор, то кстати можно вспомнить. Когда Петербург был ещё Ленинградом, финны буквально делали набеги на нашу гостеприимную культурную столицу. Вереницы финских битковых туравтобусов и машин частников по разрешению властей и таможни почти свободно пересекали границу и по горло загружались алкоголем. И сами финны по горло отрывались в наших кабаках, пивных барах и ресторанах. Ибо у них тогда процветал жёсткий сухой закон. Напившись до свинской потери сознания, мешками валялись по всему городу, даже на Невском проспекте. А гуманная наша милиция, вместо того чтобы выдворять алкашей восвояси, бережно развозила эти бесчувственные тела по вытрезвителям и гостиницам, где те успевали зарегистрироваться. А чтоб успокоить возмущённых ленинградцев, журналисты писали в СМИ: мол, дело в том, что, мол, генетически в крови у чухонцев не хватает каких-то ферментов, которые нейтрализуют действие алкоголя. Вот и всё. Хотя горожане были уверены, что у них много чего ещё не хватало. Например, морали, чести и совести…

А Пирка тем временем в магазине наполняла и наполняла свою тележку, брала с полок продукты то справа, то слева. Я же не переставала удивляться, что здесь, в глухих скандинав-

ских лесах, всё это есть. Но старалась не выдать своего удивления и восторга, особенно когда увидела спелые, аккуратно порезанные куски арбуза в плёнке.

Пирка сказала:

– Ну, бери, что тебе хочется.

Я хотела многое, особенно арбуза, но в моей сумочке денег – кот наплакал. Но что-то я всё-таки положила, правда, привычное. Нарезку сыра и колбасы, но отказаться от куска красного спелого арбуза среди зимы никак не могла. Когда подъехали со своими тележками к кассе, Пирка великодушно сказала, глядя на мою сумку: «Убери». И всю эту гору деликатесов оплатила сама.

Все продукты мы перегрузили в фургон и покинули посёлок. Я подавленно молчала… А Пирка, наоборот, оживлённо болтала:

– Ну вот, теперь нам еды на неделю хватит. Ты готовить-то как, любишь? Умеешь?..

Я молча кивнула. Я могла и умела. Долгие годы, когда у меня в Москве была полной семья – муж, дочь, мама, бабушка, кошка, собака плюс певчий дрозд в клетке (да ещё то и дело бывали гости, друзья), – столы у меня сияли на загляденье. Но, однако, потом дом начал пустеть. Первым нас покинул мой дорогой Юра – от смертельного белокровия. Потом в лучший мир ушли старшие. После дочь вышла замуж, уехала к мужу. Умер эрделька Дик, за ним кошка. А дрозда Кешу я, отправляясь в командировку, почти со слезами подарила лучшей подруге. И вот так помаленьку мои таланты в кухне и у плиты сошли на нет. Много ли одному человеку надо?..

А Пирка между тем за рулём не умолкала:

– Ну вот ты нас русской едой и побалуешь, и удивишь.

Я молчала, потупившись. И Пирка осеклась…

– Да ты не пугайся. Старухи мои малоежки. Сын в школе обедает, я туда отдельно большие деньги плачу. Ну а уж мы с тобой навернём от души.

Она, конечно, не так сказала, не «навернём». Это уж, простите, моя русская интерпретация, но по смыслу всё точно. Пирка опять и опять чему-то смеялась, она вообще была человеком лёгким. А я подумала: «А почему бы и нет, почему бы не накормить? Да ещё с такими-то продуктами, с осетриной, с грибами-трюфелями? Тем более это богатство будет лежать у Пирки на кухне, в её серебристом трёхстворчатом холодильнике… Справлюсь, где наша не пропадала…»

Я начала думать, что же приготовить. И вечером спросила Пирку:

– Что лучше, рыбное или мясное? И на сколько персон? Может, кто-то в гости придёт? И когда, может, на воскресенье? Как раз и Йохан будет дома.

Но она встрепенулась:

– Только не в воскресенье. Я должна быть в городе. Мне надо с другом увидеться, документы отдать.

Я огорчилась, но, помолчав, всё же спросила:

– А кто он?

И она не без гордости ответила:

– Бизнесмен. Цветами торгует. Это трудно, конечно, затратно. Но прибыль большая. У него целая сеть магазинов, и у нас, и в Европе. Мне до него далеко… Крутится как белка в колесе. – И стала объяснять: – Из Голландии с тюльпанами не вылезает. Недавно в Колумбию летал, там появились новые розовые сорта… Я ему по бухгалтерии помогаю… – Недобро скривилась. – Правда, жена у него. – И рукой махнула. – Сплошное горе. И детей у них нет. А он меня любит. Но и её не бросает, говорит, жалко – больная. Говорит, не спеши. Ну, я и не спешу. Вот так и мучаемся.

А в воскресенье, перед тем как уехать в город, Пирка вдруг говорит мне:

– А ты никогда не спала на водяном матрасе?

Я удивилась:

– На водяном? На таком матрасе я не только не спала, а даже не слыхивала.

– А ты попробуй, поспи сегодня в моей спальне. Хорошая штука. Это сейчас в Европе так модно, так дорого. А бельё на постель в шкафу возьми, ты знаешь где.

И я решилась попробовать. В чужой спальне я ложилась на этот водяной матрас с большой осторожностью. И не зря, поскольку услышала под собой бульканье, словно погружалась в воду, и застыла на месте. А когда упёрлась локтем, чтобы перевернуться, то локоть стал подо мною тонуть, неудержимо пошёл куда-то на дно, притом журча и захлёбываясь. С трудом я выкарабкалась из мягкой этой трясины и сочувственно подумала: «Господи, спаси! Как же они умудряются вдвоём тут кувыркаться? Это же катастрофа просто!..» Так что в эту ночь я совершенно не выспалась и всё думала: «Нет уж, никогда эта очередная европейская мода и странные западные ценности у нас на Руси не приживутся. У нас куда слаще выспишься на тёплой печной лежанке и уж тем более на духмяном сене в сарае или на чердаке. Истину говорят: “В гостях хорошо, а дома лучше”».

А настоящее наслаждение за эти полмесяца в гостях я получила от прогулок в окружающем сосновом лесу. Они были просто сказочны. Я словно купалась в морозном терпком аромате сосновой смолы и хвои, дышалось полной грудью. Свежий воздух наполнял мою душу светом радости и покоя. По сторонам стояли золотые, освещённые солнцем корабельные сосны. И вольный ветер гулял в их кронах на фоне синего неба, где прыгали белки и чирикали птицы. Запрокинув голову, я порой смотрела на вершины высоких сосен, которые, как кисти художника, тянулись в небо, словно хотели на голубом холсте неба что-то нарисовать, написать что-то земное, предвечное, известное только им.

По неглубокому снегу я протоптала дорожку в глубину бора. И во время этих отрадных прогулок то позади, то обгоняя меня, как собачка, бежал рядом Пиркин кот, которого я мысленно по-русски назвала Васькой. Я удивлялась, как этот чудо-кот мог босиком и с удовольствием бродить за мной по снегам. И видно, не потому, что я его подкармливала едой со стола, а потому, что мы уважали друг друга, как две Божьих твари, имеющие право жить на земле.

В лесу было так прекрасно, так чисто, как в праздничной горнице. И эта природа, всё это великолепие не знало, чьё оно, – карельское, чухонское, финское, русское. Воистину, «Ручей, ручей, ты чей?.. – НИЧЕЙ».

Всё было всеобщим, Божьим, мирским и даже вечным.

Но под хруст снега под ногами я иногда с сожалением думала: неужели где-то на севере, на каких-то лесоучастках, всё это уничтожается, гудит пилорамная техника, ради коммерции, ради денег, пусть и миллионов, гибнет такая же красота? Валить, рубить, корчевать и продавать, превращать всё в бумагу? И до того мне это казалось преступным и чуждым, что хотелось плакать. И на глаза и правда набегали щемящие слёзы. А ей, природе, такой могучей и нежной, не было никакого дела до человека, до его чувств и страстей… И только кот Васька, вскинув трубою хвост, мирно семенил у ног. Моя любовь к Отечеству отсюда, издалека, ощущалась мной особенно пронзительно и глубоко. И подумалось: «Пора, пора возвращаться к дому, в родную Москву. И что меня держит здесь? Разве что этот лес да вот кот, который прикипел ко мне душой… Да, видать, я и правда истинная кошатница. От чего, впрочем, и не отказываюсь…» И улыбнулась, взглянув на кота, бегущего впереди: «Верно ведь, Васька?» «Домой… скорее домой, – думала я. – Пора, пора. Нагостилась в богатой вилле. А там дела, столько дел накопилось!.. Вот вернётся Пирка из города, и я соберусь, я скажу ей… Интересно, что я скажу ей?..»

И я спросила у неё первым делом почему-то про кота. Пирка смеялась:

– Он у меня медалист. До кастрации я его уступала за деньги в клуб. Чего прибыль терять? Знаешь, сколько у него детей в городе? Не одна сотня!

В голове мелькнуло: «Неужто и это продаётся и покупается?»

– Я бы тебе отдала его в Москву бесплатно, ты же кошатница. – И хохотала громче прежнего. – Да теперь уж поздно, подружка, поезд ушёл.

Днём кот ловко охотился в сосновом бору, ловил белок и птиц. С хрустом съедал их прямо на дереве, а вечером возвращался, мяукал под дверью. Миска его всегда была полна дорогим сухим кормом из купленного в магазине мешка с латинскими буквами на боку: «Корм для кастрированных кошек». Дорогущий. Помню, я тогда поразилась:

– Кошкам здесь производят спецкорм? И даже разный: для британцев, для мейн-кунов и даже для котят? Ну и ну! Вот до чего цивилизация дошла! Даже есть спецмагазины? – И я добавляла: – А мы кошек со стола кормим…

Но Пирка лишь горделиво посмеивалась:

– Мы же не русские. Мы всё же Европа.

Я обомлела даже. Хотела взорваться, но сдержалась – гостья ведь. А в мозгу так и стучало, стучало: «Европа? Да какая вы Европа?.. Вам всё Россия дала…»

Для меня чухонцы, угро-финны древние, – это всё в одном флаконе: карелы, финны, суоми, весь, эстонцы. Впрочем, отношения между нашими странами меня тогда не интересовали. Мне казалось, что это удел учёных – историков, политологов. Думаю, и Пирка тоже тогда об этом не думала.

Тут мне надо бы написать банальное «прошли годы». Но они действительно прошли. За это время и в мире, и в России (и между нашими странами), и в моей судьбе так много всего изменилось, так много воды утекло, что и сказать трудно. Но однажды среди писательских будней у меня дома в Москве вдруг раздался необычный телефонный звонок. Я поняла: это междугородний. Но это был даже международный. Из Хельсинки. Сняла трубку и неожиданно услышала и узнала голос моей финской знакомой Пирки. И не то чтобы обрадовалась, а удивилась. Значит, она меня не забыла, так же как и я её. Первым делом я, конечно, спросила про её семью, про её чухонских бабушек-близняшек, про сына. Она охотно и громко отвечала:

– Старух своих я давно схоронила, а Йохан в Лондоне, я его отправила в Оксфорд учиться. Там всё так дорого, гораздо дороже, чем у нас. Мне ему без конца деньги приходится посылать. Надеюсь, домой вернётся, не укатит куда-нибудь в Штаты. С таким образованием у нас в Финляндии и депутатом парламента можно стать.

А у меня сразу мелькнуло с ужасом: «Вот уж не дай Бог, если такие злобные Йоханы, такие хитрые русофобы получат в Финляндии власть. В какую едкую, вонючую гадость они могут превратить свою лесную северную страну!..» А про кота Ваську я не спросила, сочла неудобным. А зря не спросила. И сейчас жалею. Это был «наш человек».

– А дачу я продала, и очень выгодно. Ещё занимаюсь теперь и цветами, – живо продолжала Пирка. – А знаешь, почему я тебе звоню?

Видно, совсем не думала о том, что международный телефонный звонок ей обойдётся в копеечку.

– Просто хочу тебя порадовать, вытащить из твоего безденежного болота. У меня тут случайно завелись два вагона сахара, точнее сахарного песку, и расфасовка хорошая – всё в мешках. Я могу почти даром перегнать их тебе до Петербурга, ты там их получишь и перегонишь в Москву. И документы с ними будут. Ты же учтёшь мне мой процент? Поставишь где-нибудь на Ленинградском вокзале на запасные пути, а потом сбудешь через торговую сеть. По магазинам, ларькам, а лучше всего на рынки. Это же сразу живые деньги. Ведь у вас же теперь экономика рыночная. – И добавила: – Я ж говорю, тара очень удобная, в мешках.

Я сперва растерялась, потом обалдела, даже не знала, как реагировать. Всё это свалилось как снег на голову. Представила себя во всей этой нелепой ситуации, суете. С этими вагонами, мешками сахара, магазинами… И даже не знала, что на всё это отвечать моей щедрой финской подруге. Просто молчала. А она, по-своему расценив моё молчание, великодушно сказала:

– Я, конечно, тебя понимаю. Тогда давай сделаем так: ты пока думай, а во вторник я тебе перезвоню. Только не тяни, а то вся моя задумка сорвётся и останешься ты без денег. Ну всё, до связи.

И положила трубку. А я до вторника всё соображала, но так и не придумала, что ей ответить. Однако во вторник почему-то никакого международного звонка не раздалось. Не было звонка ни в среду, ни в четверг. Никогда. И теперь, когда я пью чай с лимоном и сахаром, с улыбкой вспоминаю про эти два вагона сахарного песку и думаю о том, как однажды я могла стать, да не стала миллионершей.

Пять букв по вертикали

Рассказ

Она долго стояла у дороги, спрятав морщинистые руки под тёмный передник, и смотрела на окна соседской избы. За её спиной по деревенскому большаку протарахтел синий рейсовый автобус. Потом, рыча, проплыл гружёный ЗИС. А она всё стояла и не решалась войти в избу.

В той избе было просторно и шумно. Приёмник в углу громко выплёскивал мелодию джаза и зелёным немигающим глазом смотрел на комнату с русской печью, на старую хозяйку, чистившую картошку, на двух светловолосых девчонок, коротко стриженных, расположившихся на широкой хозяйской кровати.

Обе приехали сюда из города на практику. Одна, посветлей, лежала в брючках, закинув ногу на ногу, и листала старый «Огонёк». Другая, постарше, в пёстром платье, сидела рядом и, свесив босые ноги, вязала свитер.

Клубок красной шерсти бился в чистом чугунке, поставленном на пол. Бился, стучал о стенки и всё никак не мог выскочить.

Лежащая девчонка перевернула последнюю страницу журнала.

– Слушай, «Известный польский композитор», пять букв по горизонтали. – Она подумала и обрадовалась: – Шо-пен. Ага, подходит. Дальше. «Река в Восточной Германии», пять букв по вертикали. Ты не знаешь?

– Три – изнанка, две – лицо, – зашептала подруга и вскользь обронила: – Эльба, может?

– Нет. На «ш». Ше, ш-чп-ш, – зашипела беленькая. Потом махнула рукой: – Нет, не знаю. Ладно, дальше. «Масличное растение», семь букв по вертикали.

Задумалась.

– Если масличное, так лён поди али конопля, – сказала хозяйка, бросая в ведро длинную спираль картофельной очистки.

– Ко-но-пля, точно. Вот здорово, – улыбнулась девушка. – Сроду бы не догадалось.

…Она наконец решилась. Пересекла по тропинке соседский двор и стала подниматься на крыльцо.

– Верка идёт, – увидев за стеклом пёструю косынку соседки, сказала хозяйка. И шёпотом добавила: – Вы её очень не слухайте. Хоть она и тихая, и работает, а только как мужика у ней в войну убило…

Дверь несмело скрипнула, и она вошла – маленькая, сухонькая, седая. Стоя у двери и всё держа руки под фартуком, поклонилась девчонкам. Затем мелко перекрестилась на красный угол. Девчонки, не сводя с неё глаз, поздоровались.

– Гляжу, значит, учитесь? – тихо и серьёзно спросила она. – А я мешаюсь тут?.. Тогда я позже приду.

– Да что вы, нет, – улыбнулась девчонка с вязаньем.

– Нисколько, – отложила журнал и беленькая, приподнялась на локте.

– Садись, садись, Верка, – грубовато и дружелюбно сказала хозяйка. – Сейчас ужин будет. Вишь, девки мои отдыхают. В поле нынче намотались. Городские, с непривычки. Садись, садись.

Дробная музыка заливала избу, клубок красной шерсти опять запрыгал в чугунке.

Женщина села у стола на край табуретки. Тёмными, запавшими глазами добро взглянула на девчонок.

– Дело у меня к вам, – опять тихо и серьёзно сказала она и вынула руки из-под фартука. – Письмо отписать надо. Я продиктую.

Рука её протянула новенький конверт с яркой картинкой.

– Да не тро-ожь ты их, – вдруг недовольно протянула хозяйка, наливая в чугун воду. – Ты ж недавно отослала.

Гостья обиделась. Поджала сухие губы:

– Ещё надо. А тебе жалко, что ль?

– Да не жа-алко, – опять недовольно протянула хозяйка. – А устали девки. Чего им зря расписывать-то.

Женщина помедлила, точно прислушиваясь к модной мелодии, льющейся из приёмника, медленно поднялась.

Красный клубок в чугунке замер.

– Ну что вы! – Обе девчонки разом соскочили с кровати. – Конечно, напишем! – И к хозяйке: – Ну зачем вы так? Нам же не трудно.

Хозяйка только рукой махнула и вышла в сенцы.

Беленькая расположилась у края стола. А студентка в пёстром платье, выключив приёмник, опять уселась за вязанье.

В комнате стало тихо-тихо. И тогда женщина, подперев щеку тёмной ладонью, стала диктовать:

– «Здравствуй, милый мой Вася. Пишет тебе жена твоя Вера».

Она не мигая смотрела на первые строчки, появившиеся на белом листе.

– Написала?

– Да, написала, – сказала девушка и быстро повторила слово в слово.

– Нет, не так. – И, отведя взгляд, вздохнула и продолжила тише: – «Здравствуй, милый мой Вася. Пишет тебе жена твоя Вера… Ты небось думаешь, непорядки тут у нас? И беспокоишься. Так ты не думай. Дочка-то наша нынче бумагу на маляра получила. В район подалась… – Постепенно глаза её точно оттаивали, чуть-чуть улыбались: – Улетела голубка наша из дому. А красавица стала, а умница! Не узнать. Председатель жалел, что уехала…»

Девчонка писала с перерывами. Белые прядки упали на лоб. Строки ровными рядами ложились на бумагу.

– «А Шурка вчера письмо прислал из армии. Приветы всем шлёт. Так ты об нём тоже не сомневайся. Отслужит – вернётся. Помощником в доме будет. А костюм твой новый я на солнце вешала. Помнишь, он тебе в плечах узковат был…»

Женщина уже не смотрела на бумагу. Она смотрела куда-то за окно ясными, вдохновенными глазами и тихо говорила:

– «А сейчас одна я. Всё жду да жду. Сарай бы починить надо. Вот Шурка вернётся – поможет. Да скоро и пенсию жду. Да ещё в конторе дадут за работу. Мы нынче настоговали много. На всю зиму скотине хватит…»

На секунду она замолчала. Потом уже деловито взглянула на лист и закончила:

– «Привет тебе от кладовщика Фёдора. От соседей наших Левиных. А также шлёт привет тебе Надька-буфетчица, у неё весной внук родился. На том кончаю. С приветом к тебе, жена твоя Вера».

Она бережно вынула из кармана и положила перед девчонкой пожелтевший от времени, замусоленный треугольник солдатского письма:

– Адресок тут его… Вижу я плохо.

На конверте студентка прочла еле видные, стёртые временем строки обратного адреса и вслух прочла:

– «Баутзен на Шпрее. Полевая почта… Два… Четыре… Горохову Василию».

– Точно, Василию. А Шпрее – это река такая в Германии, – пояснила женщина. – Он мне писал.

Девчонка медленно подняла голову, переглянулась с подружкой. Женщина смотрела ей прямо в глаза:

– А ты не знаешь, далеко это?

И девчонка потупилась:

– Далеко… Очень далеко…

В избе смеркалось. Гостья, тихая и довольная, спустилась с крыльца. Мелко зашагала через двор к калитке. Её руки под фартуком бережно держали заклеенное письмо с картинкой.

Девчонки молчали. Слышалось, как кипит в печи вода, гудит, бьётся о стекло залетевший в комнату шмель.

– В сорок пятом погиб, а до сих пор пишет, – вздохнула хозяйка, ставя на стол дымящуюся картошку. – На почте уж цельный ящик её писем… – И добавила: – Мой-то раньше погиб.

Она зачем-то ушла в сенцы. И опять стало слышно, как упрямо стучит в окно шмель.

Девчонка склонилась над журналом и аккуратно вписала в квадратики кроссворда слово из пяти букв по вертикали: «Шпрее». Потом, задумавшись, подошла к окну и распахнула низкие створки. В лицо ей пахнул воздух, свежий после дождя.

На улице было шумно и ещё светло. На обочине по свежей траве мальчишки гоняли мяч. Где-то плакал ребёнок. А далеко-далеко впереди уходила по белой дороге к закатному солнцу старая женщина.

Малиновый звон

Штрихи к портрету

Были у нас в ЦДЛ, в нашей литературной тусовке, два уже популярных добротных поэта – Анатолий Поперечный и Владимир Цибин. Одно время они крепко дружили (оба с Украины, оба женаты, без детей) и всюду бывали вместе. И на любых выступлениях, и в литературных делегациях в поездках по стране, и в ЦДЛ. Володю даже прозвали Продольный. Мол, как братья, Поперечный и Продольный. Вполне юморно. А с Толей мы вообще были очень близки, дружили домами. Он всегда нам читал, показывал свои новые стихи, дарил новые книжки. Хотя в ЦДЛ его называли поэтом-песенником. (Это несколько унижающее название, а на мой взгляд, напрасно.) Но сам Толя это не чувствовал (Как, например, и другие барды и песенники: Танич, Высоцкий и др.)

И вот однажды у меня дома раздался телефонный звонок от Анатолия:

– А можно к тебе прийти в гости?

– Ну конечно, – сказала я.

– А можно не одному?

– Конечно, – повторила я на автомате.

Подумала: «Наверное, придёт с женой». Но через час на моём пороге появилась буквально бригада. Сам поэт, а с ним два очаровательных рослых красавца брата-близнеца. Похожих друг на друга как две капли воды. Николай и Сергей Радченко. И с собой у них было несколько футляров с инструментами. О, это был один из самых прекрасных концертов, что случались в моём доме. Они играли и пели песни разных поэтов и композиторов, но особенно на стихи Поперечного. Вот и сегодня они все вместе приехали ко мне с какой-то эстрады. Дуэт братьев Радченко уже был известен. Талантливо, замечательно пели, с успехом выступали по всей стране. Владели разными инструментами, ведь за спиной нешуточное музыкальное образование, и даже актёрское (Киевский государственный театральный институт имени Карпенко-Карого). Но самые удачные песни, ставшие буквально хитами, у них были на стихи Анатолия Поперечного. Вот, например: «Домик окнами в сад, там, где ждёт меня мама, / Где качала мою по ночам колыбель, / Домик окнами в сад заметает упрямо / Золотой листопад, голубая метель…»

В те годы эти братья, очень любимые зрителям, частенько бывали у меня в гостях и охотно пели и под мой несовершенный аккомпанемент. Один из них, уж не помню, Коля или Сергей, даже сделал предложение руки и сердца моей дочке Анечке, художнице, студентке ВГИКа. Однако её судьба пошла по другому руслу.

В моём домашнем архиве сохранилось несколько замечательных фотографий, снятых у меня дома, которые я рассматриваю с трепетом.

Помню, как однажды на всю страну зазвучала их очередная, новая песня, которую полюбили миллионы советских людей. И опять-таки на стихи Анатолия Поперечного (музыка А. Морозова): «Малиновый звон на заре, / Скажи моей милой земле, / Что я в неё с детства влюблён, / Как в этот малиновый звон…».

Все мы привыкли к этим замечательным словам «малиновый звон». Но мало кто знает, понимает (да, пожалуй, и сам автор), что речь идёт не про ягоду малину и не про сладкое, как эта ягода, звучание мелодии. А совсем про другое.

Есть в Европе, в далёкой маленькой Бельгии, городок, в котором со Средних веков разработали удачный сплав для литья колоколов. И вот уже три столетия – со времени появления таких церковных колоколов – «малиновым» называют в России красивый, благозвучный,

мелодично переливающийся звон, неповторимое чувство Родины. А всё потому, что этот городок по-французски называется «Малин». Вот потому и «малиновый». По созвучию.

Однажды, спустя десятилетия, на берегу Истринского водохранилища, где у меня дача в СНТ «Московский писатель», кто-то мне сказал: «Видите напротив, на том берегу, вон те две дачи? Это коттеджи братьев Радченко». И я обрадовалась: у каждого по дому, у каждого своя семья. Сейчас эти близнецы уже старенькие, но держатся. И даже недавно мелькнули и дуэтом попели на телевидении в программе Андрея Малахова «Песни от души». И тут же на мою душу накатила такая щемящая волна светлой памяти, хоть плачь. «Сквозь полудрёму и сон / Слышу малиновый звон, / Это рассвета гонцы, / В травах звенят бубенцы. / Это средь русских равнин / Вспыхнули гроздья рябин, / Это в родимой глуши / Что-то коснулось души…»

1. У меня дома с прозаиком Асей Соколовой.
2. Уфа. Юрина мама, Зоя Дмитриевна, с внучкой Аней.
3. С подругой Светой Островской.
4. Мои гости, музыканты братья-близнецы Радченко.
5. Останкино, 1952 год. Я с приятелем Володей.

6. Керчь, 1964 год. Мы с Юрой на съёмках к/ф «Время, вперёд!»

7. Останкино. Новый, 1952 год.

8. Г. Арсеньев, 1974 год, съёмки к/ф «Дерсу Узала». В гостях у мэра М. Мунзук, Ю. Соломин, Ю. Ракша, Ю. Гантман.

9. «Портрет Акиры Куросавы», художник Ю. Ракша.

10. Москва, Дом правительства. Писатель И. Ракша и композитор А. Журбин.

11. Третьяковская галерея. «Портрет поэта Арсения Тарковского», художник Ю. Ракша.

12. С актрисой Лидой Кудрявцевой.

13. Верхняя Волга, д. Лужки. Моя дочь Аня.

14. У меня в гостях писатель Борис Виленский.

II. Держите дверь открытой

Дневниковая проза

В этой новой книге «Завещаю тебе» вторую часть я вновь пишу в моём прежнем стиле, названном дневниковой прозой. Повторюсь, это не дневник и не проза. Это и то и другое. И одно обогащает другое. Порой ночью в тишине и во тьме я поднимаюсь и босиком шлёпаю в кабинет. И коротко записываю пришедшие на ум мысли. Будь то новый сюжет или образ, или чья-то цитата, или даже одно слово. Вдруг пригодится, вдруг интересно будет и мне самой, и читателю. Я же его люблю, работаю для него.

И если не делать свою прозу откровенной, даже исповедальной, то грош ей цена. Душа должна быть как на ладони. Со всеми грехами и делами добра. Иначе это будет не искусство.

* * *

Полвека я храню бесценные льняные рушники, вышитые сто лет назад при лучине в курской хате Винниковых под соломенной крышей руками Наденьки Плевицкой (моей бабушки) и её сёстрами. Чёрно-красным крестиком вышита картинка, и подпись под ней: «Как у наших у ворот всегда девок хоровод». И правда, там четыре девки и один парень стоят у плетёного тына. С гармошкой. И это чудо я берегу для приходского музея Благовещенского храма, где Надя Плевицкая пела на клиросе (к тому же она дружила с княгиней, построившей этот Благовещенский храм).

* * *

Сегодня ценные парковые скульптуры по всей стране на зиму бережно укутывают и заключают в особые дорогие футляры. Хотя во время Второй мировой войны их, спасая от бомбёжек фашистов, бережно закапывали в землю. Например, в Петербурге, Петергофе.

А я с детства помню печальную картину в нашем Останкино. Зимний парк графа Шереметева, и у самых стен его чудо-дворца с колоннадой, по колено занесённые снегом, стоят фигуры обнажённых античных богов, установленные ещё самим графом. Их на зиму тоже старались укрыть, сохранить. Для этого грузовиками привозили дешёвые обрезки досок и даже горбыль. Обивали каждую скульптуру снаружи. Однако к концу зимних месяцев из сугробов торчали лишь остатки горбылей, пока ещё не украденных на дрова. И изящно-античные руки аполлонов, нептунов, афродит, ожидая весны, взывали к милосердию. Однако, когда окончательно сходили снега, они, к сожалению, оказывались то без носов, то без рук. А два лежащих льва, охранявших главный вход во дворец, исчезли уже позже. Их украли «прорабы перестройки».

* * *

Что такое б/у? То есть, сокращённо, – бывшее в употреблении.

* * *

Написать про два медальона, которые я храню дома. Это память о боях с фашистами под Москвой, на Истре. Найденные мной на моём дачном участке в начале двадцать первого века. Один медальон (пистончик чёрной пластмассы оказался пустым, без имени воина) – убитого советского солдата. Другой (полбляшки из алюминия с именем Йозеф… и номером вражеской части) – поверженного фашиста. И оба найдены на моих шести сотках, недалеко друг от друга. Представляете? Какой сюжет истории? Даже вообразить страшно, какие тут шли бои восемьдесят лет тому назад.

* * *

Прощайте врагов ваших. Это лучший способ вывести их из себя.

Оскар Уайльд

* * *

Влюблённость – это переодетый эгоизм.

Павел Флоренский

* * *

Ненаказанное зло – источник эпидемии зла.

* * *

Пожалуй, лишь нынче могу сказать ответственно. Я хранитель памяти. «Приёмник и передатчик» памяти из настоящего в будущее. Я рабочее звено бытия. Вот моя миссия, вот труд моих книг. Они – рядовые бойцы, ратники за победу православия. Они – Крест мой насущный. Он мне люб и не тяжек. За что земно благодарю Бога.

* * *

Депрессия у женщин в два раза сильнее и чаще, чем у мужчин.

* * *

Лучше капля добра, чем бочка разговоров.

* * *

Не говори с тоской: их нет; / Но с благодарностию: были.

В. А. Жуковский

* * *

Христос пришёл спасти и сытых, и голодных.

Серафим (Роуз), иеромонах из США

* * *

По-грузински «мама» – значит «папа». А «мама» – это «дэда».

* * *

Когда я бывала за границей (и особенно в Хевроне, у дуба Мамврийского), отмечала в монастырях и храмах православных зарубежных Церквей преобладание румынских женщин. А ведь европейская Румыния – страна убогая, беднейшая и очень маленькая. Так почему же всюду в христианских храмах всё румынки и румынки? Не знаете?.. Вот и я не знаю. А знать надо бы…

* * *

Две вещи не могут быть постоянными – удовольствие и довольство собой (работой своей). Лично у меня эти чувства гости редкие. Именно потому ценные.

* * *

У меня всем движет сострадание, а это составная часть любви. И ещё мощный тормоз к ненависти и злу.

* * *

Как-то меня спросили: «Почему у вас в текстах так много разных знаков препинания?» Отвечаю. Потому что если б это звучало в кино или на сцене, то препинания, остановки, молчание, дыхание были бы необходимы для выразительности и даже бесценны. И я своими знаками препинания показываю это читателю. Как режиссёр показывает актёрам на репетиции. И помните? Я всё-таки ВГИК окончила.

* * *

А Бог велел делиться…

* * *

Я бесконечно люблю Москву. И всех тех, кто её любит.

* * *

Композитор Штраус сказал о своём произведении «Танец семи покрывал»: «Да, знаю, это безобразие… Но на это безобразие я построил себе дом в горах».

* * *

Оксюморон: горячий снег, громкая тишина, живой труп… В своей работе, в своей прозе я интуитивно очень люблю оксюмороны.

* * *

Когда мы какой-то предмет называем, то есть обозначаем словом, то как бы вселяем в него душу, показываем, что в него вложено: стол, окно, хлеб… И этим через слово передаём его далее миру.

Но в советские времена учителя на уроке спрашивал детей: «Этот предмет одушевлённый или неодушевлённый? А этот? А этот?» А ведь суть вопроса глубже: есть в нём душа или нет? Но про душу, про Бога в те годы и не вспоминали. Ни слова. А жаль.

* * *

Однажды слышала, когда президент США Рейган с женой посещал Москву, то, гуляя по Красной площади, он остановился перед собором Василия Блаженного и сказал жене: «Знаешь, Нэнси, мне кажется, именно здесь живёт Господь Бог».

* * *

О собственной персоне никогда не размышляю, не занимаюсь самокопанием. И не понимаю, верней, не люблю постулата «познай себя» и тех людей, кто этим занимается, тратит на себя время… Потому-то, наверно, я не интро-, а экстраверт. А если сказать образно, я, скорее всего, родник, цель жизни которого – отдавать. Всё «из». Из себя, из меня. Всё отдавать и течь, течь и течь. А иначе – сушь, пустыня и смерть.

* * *

Шутка. Брежнев говорит собеседнику: «Да, согласен. Я стар. Я очень стар. Я – суперстар».

* * *

Как хорошо, что у кинематографистов есть такой заступник, защитник, как Никита Михалков. А вот у писателей такого нет. А кто добрался до самого верха, радеет по факту лишь о себе. Потому-то писатели после развала СССР и обнищали, осиротели и потеряли всё. И издательства, и Дома творчества, и гонорары, и книжные магазины, и ЦДЛ, а главное – потеряли свои права. Лишь обязанность осталась – писать… И не было у нас в эти трудные десятилетия такого защитника, как Никита Сергеевич. (К нему даже сам президент в гости ездит.)

Может, вот Владимир Мединский, недавно появившийся наверху, поможет? Что ж, посмотрим, время покажет.

* * *

Я пишу, работаю и невидимое делаю видимым, живой картинкой, картиной. Но заранее об этом никогда не думаю. Как-то само получается. А вернее, наверно, – с Неба.

* * *

Вдохновенный человек. Как он редок. И как он в любой области ценен.

* * *

Весь мир гудит, порой шутит: «У Макрона пропала корона». В Париже обокрали Лувр. Воры унесли исторические драгоценности, а вот корону императрицы при отступлении, при беге на двух скутерах, потеряли. Обронили в спешке. Эх, Франция, до чего же ты докатилась! Даже корону не могли нормально украсть. Смех сквозь слёзы.

* * *

А появилась на белый свет я в Соломенной Сторожке. Да-да, именно в Соломенной Сторожке. Такая уж у сторожки была крыша соломенная. (Правда звучит красиво?) И пишется с большой буквы. Там в 1938 году был (и есть) невзрачный дом с названием «Родильный дом». Это в Останкино, север столицы. А город – Москва. Мой единственный и любимый до смерти город. И не потому, что столица России, а потому, что это моё личное, частное место силы. Но, наверно, и слабости, и печалей, и радостей. И всего-всего на свете, что случалось со мной на долгой-долгой дороге жизни. Отсюда я ушла в круженье лет.

И куда бы вообще ни кидала меня судьба, я всегда спешила вернуться, прилететь, как птица в тепло родного гнезда. К тому же я москвичка в четвёртом поколении, что тоже немаловажно. Тут на левом, высоком, берегу реки-невелички Яузы в Лефортово на кладбище лежат мои главные предки Никольские, родом чуть не с пушкинских времён. Прабабушка Мария, бабушка, дедушка, мамочка (увидела свет в 1917 году) и другая родня. Все в одном месте, на одном участке, тропе № 4 – восемь могил… А муж и дочь на Ваганьково. Бог даст, и я с ними буду. Вот тут я прерву себя, как бы на мгновенье умолкну, а то слёзы будут мешать писать.

* * *

В каждое столетие некоторые писатели открывали свои новые слова. Например, «вещество» – М. Ломоносов, «лётчик» – В. Хлебников, «детина, храпеть» – А. Пушкин и т. д. Но, оказывается, и я в новом веке сказала кое-что впервые: «возрастной аскетизм», «дневниковая проза».

* * *

Безнаказанность ведёт к новым преступлениям.

* * *

А вот шутливое прозвище советского ребёнка в школе, во дворе: «Жиртрест – мясокомбинат-промсосиски».

* * *

В коневодстве есть понятие – бег намётом. А есть – вскачь, рысью, галопом и т. д.

* * *

«Простить нельзя мстить». Где ставить запятую?

В природе у животных нет чувства мести. Лучше простить, ибо месть разрушает, съедает тебя самого. Поэтому запятая в начале.

* * *

Чувство, осознание, поступок – вот последовательность шагов в жизни каждого из нас.

* * *

Успех прозы определяет её поэтичность.

* * *

Лучше спрашивать не «за что мне всё это?», а так: «Для чего? Ради чего?»

* * *

Терпение, прощение и радость – суть жизни во Христе.

Святитель Николай Сербский

* * *

Написать пару слов о ТВ-передаче «Предстояние»… Однако я не работала в «Урожайном» трактористом (просто это я на фото Якова Халипа в тракторе «Сталинец-80»). Всё остальное правда. Передача талантливая (а иной о Юре Ракше и быть не могло). Забыто там лишь одно слово. Не названа профессия жены – «писатель». А в остальном Диме Менделееву поклон и спасибо.

* * *

Слово «вещество» придумал великий помор Михайло Ломоносов. Прежде такого на Руси не было.

* * *

Из всего, что вокруг, можно творить волшебство. Помните слова Чехова? «Дайте мне пепельницу, и я напишу вам рассказ».

* * *

Терпение – корень всех благ и мать благочестия.

Преподобный Сергий Радонежский

* * *

Анекдот. После боя Петька вдруг спрашивает своего командира Чапаева: «Василий Иваныч, а тебе нравится Бабель?» Тот удивлён: «Бабель? – Чешет в затылке. – Не знаю, Петька. Это ещё смотреть надо, какая такая бабель…»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.